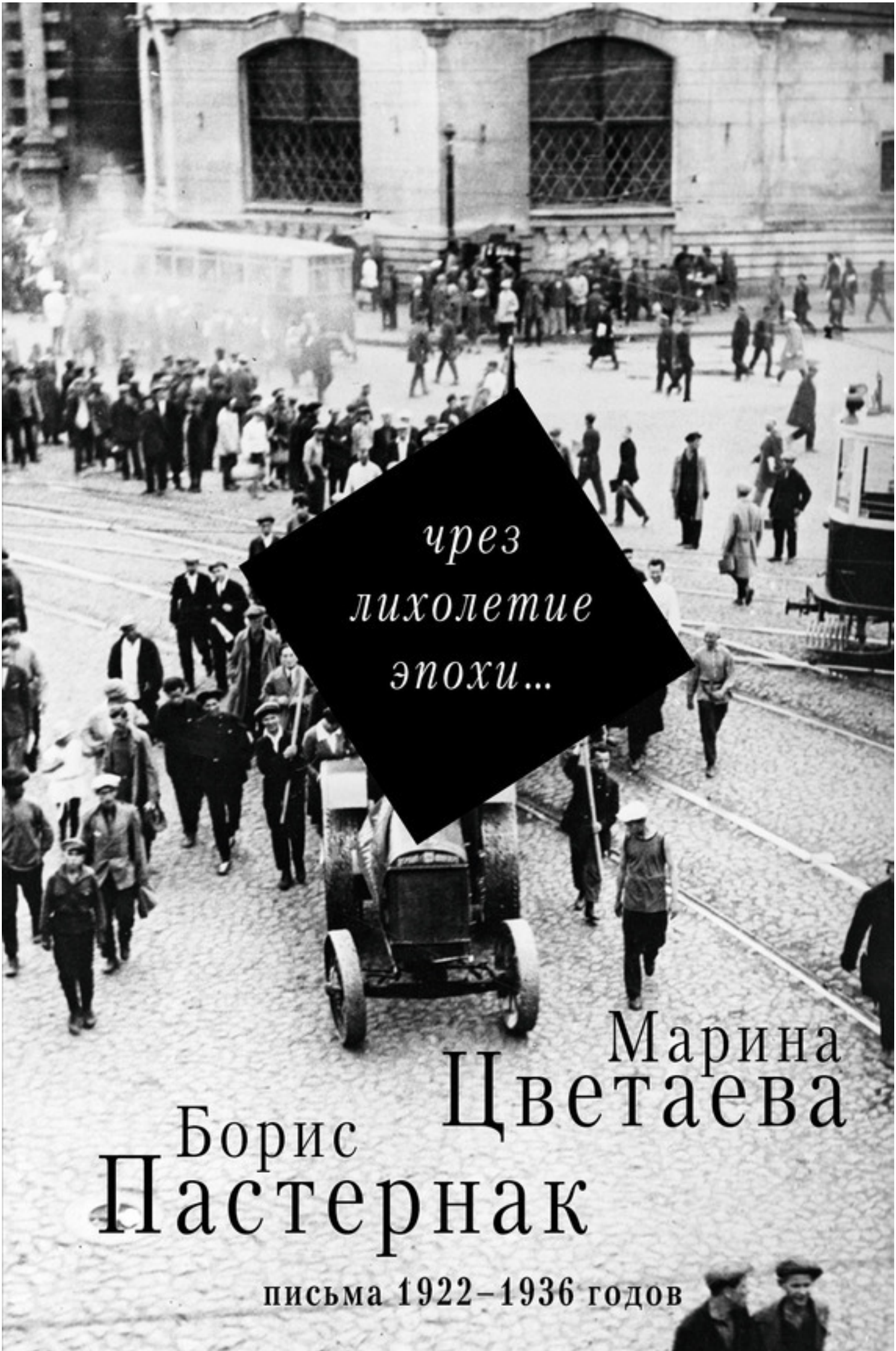

чрез лихолетие эпохи...

Марина Цветаева

Борис Пастернак

письма 1922–1936 годов

Письма и дневники

Борис Пастернак

Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов

«АСТ»
2016

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Пастернак Б. Л.

Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов /
Б. Л. Пастернак — «АСТ», 2016 — (Письма и дневники)

ISBN 978-5-17-097267-8

Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи». Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-097267-8

© Пастернак Б. Л., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Предисловие 7
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов 10
Письмо 1 10
Письмо 2 12
Письмо 3 15
Письмо 4а 18
Письмо 4б 20
Письмо 5 23
Письмо 6а 25
Письмо 6б 28
Письмо 7 32
Письмо 8 35
Письмо 9 36
Письмо 10 37
Письмо 11 38
Письмо 12 39
Письмо 13а 40
Письмо 13б 42
Приложение 45
Письмо 14 52
Письмо 15 54
Письмо 16 55
Письмо 17 58
Письмо 18 59
Письмо 19 61
Письмо 20 63
Провода 63
Письмо 21 80
Письмо 22 81
Письмо 23 82
Письмо 24 84
Письмо 25 87
Письмо 26а 88
Письмо 26б 90
Письмо 27 94
Письмо 28а 95
Письмо 28б 97
Письмо 29 99
Письмо 30 100
Письмо 31а 102
Письмо 31б 104
Письмо 32 106
Письмо 33 109
Письмо 34 111
Письмо 35 114
Письмо 36 116

Письмо 37 120
Письмо 38 122
Письмо 39 124
Письмо 40 128
Письмо 41 131
Письмо 42 133
Приложение 134
Письмо 43 135
Письмо 44 136
Письмо 45 139
Письмо 46 142
Письмо 47 146
Письмо 48 149
Письмо 49 151
Конец ознакомительного фрагмента. 152

Марина Цветаева, Борис Пастернак
Чрез лихолетие эпохи…
Письма 1922–1936 годов

© Б.Л. Пастернак (наследники), 2016
© И.Д. Шевеленко, составление, подготовка текста, предисловие, комментарии, 2016
© Е.Б. Коркина, подготовка текста, комментарии, 2016
© Российский государственный архив литературы и искусства, 2016
© РИА Новости
© ООО «Издательство АСТ», 2016

В оформлении книги использованы фотографии из личных архивов Л.А. Мнухина, П.Е. Пастернака, РГАЛИ а также из фондов Shutterstock, которые сделали Sergey Goryachev, Hung Chung Chih, iryna1

Предисловие

В этой книге в наиболее полном объеме представлена переписка крупнейших русских поэтов XX века – Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. В биографиях обоих авторов она была одним из важнейших жизненных событий, а для читателей и исследователей остается ценнейшим источником для понимания творческих и интеллектуальных устремлений обоих. Публикация этой переписки впервые стала возможной сравнительно недавно, в 2004 году[1]. Причин тому несколько.

Бóльшая часть писем Пастернака к Цветаевой хранится в фонде Цветаевой в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Москва). Этот фонд, состоящий из материалов, переданных в архив дочерью Цветаевой А.С.Эфрон, был в значительной своей части закрыт для исследователей до 2000 года. Были недоступны и письма Пастернака; за исключением одного письма, они до 2004 года не публиковались. Еще двенадцать писем Пастернака к Цветаевой находятся у наследников Пастернака. Объясняется это тем, что в августе 1941 года, перед отъездом в эвакуацию, Цветаева передала конверт с письмами к ней Пастернака и Райнера Мария Рильке весны-лета 1926 года на хранение сотруднице Гослитиздата А.П.Рябининой. От нее впоследствии получил эти письма сын Пастернака. Именно этот корпус писем лег в основу тома «тройственной» переписки 1926 года, включавшей Пастернака, Рильке и Цветаеву. Подготовленный К.М.Азадовским, Е.Б.Пастернаком и Е.В.Пастернак, он первоначально появился в переводах: в 1983 году вышли немецкое и французское издания, в 1985 году появился английский перевод. Лишь в 1987 году «тройственная» переписка была опубликована по-русски в журнале «Дружба народов» (№ 6–9); наконец, в 1990 году появилось ее первое отдельное издание по-русски[2].

О том, что письма 1926 года – лишь небольшой фрагмент многолетней переписки Пастернака и Цветаевой, было известно давно; однако долгое время казалось, что опубликовать ее именно как переписку едва ли удастся в силу утраченности большинства оригиналов писем Цветаевой. Действительно, сохранилось всего несколько таких оригиналов, и теперь уже кажется маловероятным, что утраченные письма отыщутся. Историю этой пропажи описал сам Пастернак в своем автобиографическом очерке «Люди и положения»:

«В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.

Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой»[3].

Есть основания полагать, что частая перевозка писем Цветаевой была связана еще и с тем, что Алексей Крученых просил эти письма у их хранительницы, чтобы делать с них руко-

[1] Марина Цветаева, Борис Пастернак: Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов / Издание подготовили Е.Б.Коркина и И.Д.Шевеленко. М.: Вагриус, 2004.

[2] Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева: Письма 1926 года. М.: Книга, 1990.

[3] Пастернак Б. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2003–2005. Т. 3. С. 340–341.

писные, а затем машинописные копии. Те несколько оригиналов писем Цветаевой, которые сохранились, как раз и находились, за одним-двумя исключениями, у Крученых на момент пропажи чемоданчика. Что касается копий, то Крученых и его помощники успели сделать их с большого количества цветаевских писем 1922 – начала 1927 годов. Именно эти копии были основными источниками для текстов писем Цветаевой, включенных в издания «тройственной» переписки. Иных источников, за вычетом немногих оригиналов, и не существовало бы, если бы не обычай Цветаевой писать черновики своих писем (не всех, но наиболее важных для нее) в тех же тетрадях, в которых она работала над своими произведениями.

После того, как все материалы архива Цветаевой открылись для исследователей, стало понятно, что количество черновиков писем к Пастернаку в ее рабочих тетрадях достаточно, чтобы восстановить переписку как целое. Впрочем, одна крупная хронологическая лакуна, с весны 1928 по весну 1931 года, практически невосстановима[4]. Образовалась эта лакуна из-за того, что Цветаева, возвращаясь в 1939 г. из Франции в СССР, не взяла с собой тетради этих лет, в которых работала над поэмой «Перекоп» и «Поэмой о Царской Семье», и они вместе со всем оставшимся в Париже архивом Цветаевой погибли во время войны.

В одном из тетрадных черновиков письма к Пастернаку, как будто предвидя проблему, перед которой встанут однажды ее читатели и исследователи, Цветаева писала: «Письма к тебе (вот и это письмо) я всегда пишу в тетрадь, на лету, как черновик стихов. Только беловик никогда не удается, два черновика, один тебе, другой мне» (9 апреля 1926 г.). Тетрадные черновики писем не случайно ставятся Цветаевой в один ряд с теми «вторыми черновиками», которые посылаются корреспонденту: в настоящем издании мы сохраняем оба варианта текста, если они известны, – тетрадный и посланный адресату, – и внимательный читатель сможет убедиться во взаимодополнительности этих «двух черновиков».

Не стоит, однако, преуменьшать трудностей и неизбежных потерь, вызванных столь необычным способом реконструкции переписки. Во-первых, значительная часть тетрадных черновиков Цветаевой написана скорописью, с сокращением практически всех слов. Их расшифровка потребовала огромных усилий и не во всех случаях увенчалась полным успехом. Для удобства читателей в настоящем издании конъектуры (ломаные скобки) сохранены в этих расшифровках лишь тогда, когда нет уверенности в однозначности или правильности чтения. Если бы конъектуры были оставлены везде, ломаные скобки оказались бы самым частым знаком на этих страницах. Во-вторых, датировка и встраивание тетрадных черновиков в единый хронологический ряд вместе с другими источниками (оригиналами писем Пастернака и Цветаевой, копиями писем Цветаевой) также оказались нелегкой задачей, и в нескольких случаях нет полной уверенности в том, что тетрадные фрагменты помещены нами на их точное хронологическое место.

У нас нет уверенности также, что все обращенные к Пастернаку фрагменты в рабочих тетрадях Цветаевой в действительности вошли в посланные ему письма. Не имея способа проверить это, мы выбрали единственно возможный путь – публикацию всего массива таких тетрадных набросков.

Помимо переписки двух поэтов в настоящий том включены сохранившиеся письма Пастернака к мужу Цветаевой, С.Я.Эфрону, и письма последнего к Пастернаку.

Все письма, составившие этот том, публикуются по доступным первоисточникам, будь то оригиналы, копии или тетрадные наброски. Несколько неточностей в чтении оригиналов, имевшихся в издании 2004 года, исправлены для нового издания. В комментарии внесен ряд дополнений и уточнений, а также обновлен их библиографический аппарат (главным обра-

[4] Согласно реестру писем Цветаевой, составленному О.Н.Сетницкой, всего за 1928 г. было 19 писем (сохранились черновики двух из них, фрагменты черновиков еще двух, а также одна открытка), за 1929 г. – 5 писем (сохранилось одно), за 1930 г. – 13 писем (ни одно не сохранилось). Из двух писем за 1931 г., зафиксированных в реестре (он кончается мартом 1931 г.), сохранился черновик одного. (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед. хр. 834. Л. 2.)

зом, в связи с выходом 11-томного собрания сочинений Пастернака). Подробная информация о принципах подготовки издания содержится в преамбуле к комментариям.

Ирина Шевеленко

Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов

Письмо 1
14 июня 1922 г., Москва
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыданья, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворенья на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб» – случилось то же самое.

Вы – не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, Вы не ребенок и, надеюсь, понимаете, что́ это в наши дни и в нашей обстановке означает, при *обилии* поэтов и поэтесс, не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при *обилии* даже и неопороченных дарований, подобных имени, *осчастливленному Вашим посвященьем*. Простите, простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду. Как могло случиться, что слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (если Вы даже его не знаете, моего кумира, – он дошел до Вас через побочные влиянья, и ему *вольно* в *Вас*, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как Якобсену и России вольно в Рильке). Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства. Книги не покупаешь потому, что ее можно купить!! Итак простите, простите. Но как простить мне Вам *два* Ваших равно непростительных промаха? Первый. Отчего, идучи со мною по Плющихе, не сказали мне Вы, слово в слово, следующего. «Б.Л., мне думается, Вы поэт, а следовательно, Вам почти не приходится восхищаться современниками. Может быть у Вас на памяти один такой случай (ранний Маяковский), всё же остальное, даже и Блок и Ахматова и безукоризненно изумительный Асеев, только виды душевного довольства, удовлетворенности, почти что – *нравственные* оценки-признанья душевной порядочности, – и только. Я, думается мне, – тоже поэт, Б.Л., – и знаю по себе, как тяжко то, что так резко разнятся эти два разряда. Вот, если Вы хотите пережить такое восхищенье, бурное восхищенье читателя на миг и почитателя на весь век свой, примите к сведенью, Борис Леонидович, а также передайте это и друзьям нашим, Асееву, Ахматовой и тени Блока, что случай восхититься так выдался на днях; и кстати: не говорите мне таким глупым голосом, будто это невесть что такое, о приятии одной книжки Маяковским; Вы, как о бестактности, будете потом об этом жалеть. Если хотите принять душевную соленогромовую ванну – прочтите “Версты”. Это – версты поэзии. Говорят, – их написала я».

Другой Ваш промах в том, что Вы сочли меня недостойным Вашей книжки и, зная прекрасно наперед, к чему бы такое посланье привело, мне своей книжки не послали. Как странно и глупо кроится жизнь. Как странно и глупо и хорошо.

Теперь благодаря нелепости этой я имею счастье и повод желать высказаться до конца, и так как такое желанье – неудовлетворимо, то я ударюсь удовлетворять его на все лады: за письмом, если позволите, последует другое, об этой чистой, абсолютной, исключающей

всякие взвешиванья и соображенья возможности восторгаться будет говориться и писаться мною с тою радостью, какой обязывает нас такой акт избавленья от мерил справедливости. Вам не следует читать их. Читает их – женщина. Пишет же, плавит и раздувает – первостепенный и редкий поэт, которому, в этом возвышении над женственностью, позавидовала бы и Марселина Деборд-Вальмор. Счастливая! И как я счастлив за Вас!

Я и сам собираюсь за границу. Непременно захочу Вас видеть иначе, нежели всегда хотел, – а хотел и всегда, как хотел бы видеть Ахматову или – (да Вы уже понимаете – два разряда), – захочу, лишь только смогу польстить себя надеждой хоть отдаленно заплатить Вам тем же, чем Вы сегодня меня подарили. Если же Вы согласитесь ответить мне на это письмо по адресу: Berlin W Fasanenstrasse 41, Pension Fasaneneck, Herrn Pr. L. Pasternack – мне – Вы доставите мне большую и мало еще заслуженную радость. И не забудьте сообщить в письме, простили ли Вы меня или нет: просьба моя об этом – нешуточна и увесиста. О, теперь я понимаю Илью Григорьевича! Охотно в поклонении поменяюсь с ним местом. Может быть, пошлю на Ваше имя недавно вышедшую «Сестру мою жизнь», вероятно без надписи, и Вы окажетесь *единственным* современником, дело которого одушевленнее, живее и неожиданнее его самого, ввиду чего белеет только к личностям обращенный титульный лист, в прочих случаях испещряемый до отказу.

А теперь, как проститься с Вами? Целую Вашу руку.

Потрясенный Вами Б.Пастернак

Письмо 2
Берлин, 29 нов. июня 1922 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис Леонидович!

Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.

Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, – что уцелеет?

И вот, из-под щебня:

Первое, что я почувствовала – пробегом взгляда: *спор*. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то *не заплатила*. – Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. – (Я тогда не прочла еще ни *одного* слова.)

Читаю (всё еще не понимая – кто), и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: *отброшен*. (И – мое: несносно: «Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О, Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!») – Только к концу 2-ой стр<аницы>, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной – как удар: Пастернак!

Теперь слушайте:

Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цейтлинов. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней – как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. – Поэт».

Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.

* * *

Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) – «потому что в доме совсем нет хлеба». – «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» – «5 фунтов». – «А у меня 3. – Пишете?» – «Да (или нет, не важно)». – «Прощайте». – «Прощайте».

(Книги. – Хлеб. – Человек.)

* * *

Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе писателей читаю Царь-Девицу, со всей робостью: 1) рваных валенок, 2) русской *своей* речи, 3) явно-большой рукописи. Недоуменный вопрос – на круговую: «Господа, фабула ясна?» И одобряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».

Потом – уже ухожу – Ваш оклик: «М.И.!» – «Ах, Вы здесь? Как я рада!» – «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности…»

И мое молчаливое: Зо́рок. – Поэт.

* * *

Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) – расспросы: – «Как живете. Пишете ли? Что́ – сейчас –

Москва?» И Ваше – как глухо! – «Река… Паром… Берега ли ко мне, я ли к берегу… А может быть и берегов нет… А может быть и —»

И я, мысленно: Косноязычие *большого*. – Темно́ты.

* * *

11-го (по-старому) апреля 1922 г. – Похороны Т.Ф.Скрябиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, – ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.

И вот провожаю ее большие глаза в землю.

Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг – рука на рукав – как лапа. Вы. – Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было больно за И.Г, и этого я ему не писала.) – «Я прочла Ваши стихи про голод…» – «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете – бывает так: над головой – сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»

Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь:

– Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.

Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, – ах, главное я и забыла! – «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? – Маяковскому».

Это была *большая* радость: дар всей *чужести*, побежденные пространства (времена?).

Я – правда – просияла внутри.

* * *

И гроб: белый, без венков. И – уже вблизи – успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.

И Вы… «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники…»

Теперь *самое главное*, стоим у могилы. Руки́ на рукаве уже нет. Чувствую – как всегда в первую секундочку после расставания – плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.

Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>. – Ее последний земной воздух. – И – толчком: чувство *прерванности*, не додумываю, ибо занята Т.Ф. – допроводить ее!

И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: *исчезновение*.

Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц – день в день – я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом – наверное, не застану и т. д.

Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.

* * *

Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами», – тоже в прерванности.

Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.

То, что мне говорил Эренбург – ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.

Бег *по кругу*, но круг – с мир (вселенную!). И Вы – в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.

Всё только намечено – остриями! – и, не дав опомниться – дальше. Поэзия *умыслов* – согласны?

Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.

* * *

Скоро выйдет моя книга «Ремесло», – стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня – просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».

Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь.

Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона.

Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) – едете? Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) – *безымянность* – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.

Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас.

М.Ц.

Мой адрес: Berlin – Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9. Pension «Trautenau-Haus».

Письмо 3
Berlin W. 15, Fasanenstr. 41.
Bei v. Versen, 12 ноября 1922 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Насколько чистым наслажденьем было для меня написать тогда Вам из Москвы о Вас одной по собственному побужденью, настолько угнетала и беспокоила меня мысль об ответе, к которому Вы меня обязали присылкой Разлуки, «Словами на сон», письмом и Вашей обо мне статьею. Угнетала она меня тем, что, хорошо зная за собой полную мою неспособность быть или только воображать себя человеком всегда и во всякое время, я справедливо боялся, что долго еще моя благодарность, родясь в неблагодарную для меня пору, останется моей тайной и дойдет до Вас с таким запозданьем, что ничего уже Вам не скажет и не даст. Источники моей признательности Вам разнообразны, и сразу же обсужденье их мне хотелось бы начать со «Слов на сон». Однако прежде коснусь вышеназванной своей неспособности: быть может начало письма показалось Вам темным. Я знаю, Вы с не меньшей страстью, чем я, любите – скажем для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею. Я больше всего на свете (и может быть это единственная моя любовь) люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье *естественно* принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвиженье это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться. Вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту. Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представлять себе устье именно в этом изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней, сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет на вольной воле, и, следовательно, какова ее сущность и сейчас. Как ни мало сказано этим уподобленьем, и в нем уже несколько перехвачено через край. Чтобы обойти всякий пересол, скажу точно. Мне свойственно, по особенной моей односторонности, отождествлять с жизнью тот нетерпеливый, как потребность в наслажденья, огонек, который начинает блуждать в ее глазах, когда она задумывается о *бессмертии*, когда ей начинает казаться, что она любит его, когда она в этом убеждается, когда, забыв про все другое, она бросается к нему. *Волнующе связная наглядность* жизни или, что то же, красота, есть не что иное, как именно этот выбор, с отчаяньем и отвагой произведенный ей; когда ей *ничего лучшего как стать бессмертной* не остается, и не изменясь в других отношеньях, т. е. не став умнее и справедливей, она до неузнаваемости преображается единственно лишь тем, что теперь навсегда на нее падает зарево *вечной наклонной плоскости,* т. е. знаменье *того именно* духа, который когда-то заставлял ее течь и катиться, и сделал неуловимой, и поставил эти слова в кавычки, почти приравняв «наклонную плоскость» к красоте. Сколько раз принимались Вы грызть ногти, в Вашей статье, и совершенно неосновательно. А сколько у меня сейчас оснований повторить Ваше движенье! Всего больше хотелось бы мне хотя отдаленно описать Вам то чувствованье, без которого вход в искусство в моих глазах немыслим, – и которое охарактеризовать, по-видимому, невозможно. Как часты у меня поводы к полному, отчаянному и решительному бездействию – при таком взгляде на жизнь в ее отношеньи к художнику – судите сами. Грустно быть призванным писать лишь под таким-то и таким-то видом. Но что мешает встречаться с друзьями и писать к ним в такие нерабочие или «ненаклонные» полосы? Мне думается, однако, что письма пишутся людьми живыми. Мой же взгляд на

жизнь так узок, что в эти периоды мне кажется, будто я не живу. Я не знаю, на что похожи эти растянувшиеся медитации. Если их внезапно оборвать, они сойдут за вступленье. Так и поступлю.

У «Разлуки» те же достоинства, что и у «Верст». Та же многоохватывающая порывистость, т. е. счастливая содержательность, давшаяся торпеда без тормозов. Книга в руках человека чувствующего не ждет посещенья знатоков, ее берешь, отправляясь к друзьям в Пушкино, как свою собственную, кровно ею гордясь и ей радуясь.

Совершенно же особенное спасибо Вам за «Слова». У меня было ощущенье (и оно не прошло), что во многом, вплоть до самого звучанья, «Слова на сон» до крайности близки – и намеренно – миру «Сестры». Не смейтесь надо мной и простите, если это не так. Если же я не ошибся, дайте объясню Вам, почему так особенно я Вам за них благодарен. Они мне страшно нравятся, и в минуты, когда Калигуле кажется что у него голова стеклянная, видя в «Словах» прекрасную, чудную, красящую все, на что она ни обратится, бессонную, удивительную, удивительную голову, он перестает ощупывать свою собственную и либо окончательно успокаивается либо же, в худшем случае, черпает неполное спокойствие в мыслях о пользе стекла. Надо ли объяснять Вам, что «Слова» – поддержка в минуты сомненья в себе, – на что я – мастер вне соревнованья, – надо ли, после пониманья, подчас загадочного, которое показали Вы некоторыми сторонами своей статьи?

И, чтобы ограничиться наизамечательнейшим, – отношенье «Сестры» к революции охарактеризовано та́к, с такими зачастую совпаденьями в аргументации, что не грех задуматься о тайной шалости вовремя не замеченных радиосвязей.

Serment du jeu de paume[5], – говорите Вы. – Чем ознаменовываются, говаривал я (таких случаев было два-три у меня на памяти, а тайны «революционности» книги доискивались у меня люди, недоуменно искавшие ее среди тем и набранных букв и знавшие ее наизусть силой этой самой невыясненности) – чем ознаменовываются первые взрывы истинных революций?

В качестве *прирожденной природы*, почти лирически – провозглашаются *права* человека и гражданина. Дух *естественного* права, сметая условности и отвлеченья, торчавшие на станциях и по канцеляриям во всей их, – недавно казавшейся предустановленной, *натуральности* лилово спиртовой, *денатурированной* казенщины – превращает ненадолго мир в какой-то рай. Нет, не в какой-то. Здесь просто фраза не выписалась. Нет, действительно, – *Природе* – возвращается то преувеличенно бездонное значенье, какое она имела в Раю, в этой ботанической части истории, в этой главе о порожденном, о *выросшем* мире. Не *естественно* ли еще там единобожеское богосознание? Не *натурален* ли там Бог? Не грехом ли, уже и там, названа та знаменитая и замечательная оплошность, с которой в Книге начинается и вводится… общественность… лица?

Несколько дней поглощены развивающейся пневматикой упразднений, устранений, – сметается все, что этому духу обожествленной природности кажется *неестественным*, – *безбожным*. Пуритане, жирондисты, анархизм. Это происходит весной. Все валится с ног, исчезает бесследно. Кто же, кто остается на ногах, грозя с них сбиться? Этимологически странно звучит ответ на это «кто». – Остается *лето*. Лето, день и ночь на ногах, повсеместное, играющее перекатами, хо́ркающее и блещущее, беззакатное, потрясающе-милосердное *своей* вежливостью к человеку, потрясающе-послушное в своем темном повиновении ночному небу, под которым, заломя голову, оно ходит по Земле, апокрифически неповоротливое, как мастодонт, доверенный уходу детских садовниц. Иначе говоря. Породить революцию можно лишь по-жирондистски. До степени же факта, когда его уже исторически не вычеркнуть, утучняют ее всегда якобинцы. Достаточно сказанного, чтобы понять, что искусство,

[5] Клятва <зала для> игры и мяч (*фр.*). – *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. сост.*

современное революции, неизбежно, волею самой революции, – уйдет в дни и годы, пораженное *днем ее рожденья*, и это лишь вина его впечатлительности, что памяти этой в нем никакие усилия новых условников и денатураторов не изгладят. До того отдаленного дня, в другом поколении, когда историк, тот же жирондист, что и художник, даст по-жирондистски естественную и непривычную апологию отошедшего в прошлое якобинизма. Дорогая Марина Ивановна, может быть один неосознанный расчет на Вашу снисходительность так утомительно распространил это отступление.

Касаясь «Послесловья», Вы замечаете о Маяковском. Неужто и это – случайность? Или может быть знаете Вы, что это – любимейшее его стихотворенье?

«Всесильный Бог Деталей». Теперь – строчка в стихотворении, одинокая и темная, как оговорка. Кто намекнул Вам о том, что это – формула? – *Первоначально таково было заглавие всей книги.* Никто этого не знает. Напомнили об этом Вы *и мне*.

Но в одном замечаньи о фразе: «Нельзя, не топча мирозданья» – говоря об ответственности *каждого шага*, с содраганьем при мысли, как бы: *не нарушить*, – Вы великодушно и самоотверженно обокрали самое себя. Это у Марины Цветаевой сказано:

Пляшущим шагом прошла по земле. Неба дочь.
С полным передником роз, ни ростка не наруша.

* * *

Хочется думать, – и тогда бы я искренно порадовался за Вас, за себя и за них, – что Вы давно успели подзабыть часть затронутых здесь предметов. Я сознательно шел на неловкость, в которую неизбежно поставит меня Ваше заслуженно удивленное «о чем это он?» – при прочтеньи письма.

И так как все-таки стыдно потчевать столь сильно перестоявшимся ужином, сойдемся на этот раз на том, что однажды я горячо благодарил Вас, а если и неудачно, то только оттого, что с самого же начала слишком сконфузился Ваших бровей, приподнявшихся с первого же моего слова. Если вы уведомите меня о получении этой рукописной брошюрки, я буду радоваться, при всей заслуженной краткости такого уведомленья, что не трудно себе представить. Вопросов, в согласии с только что сказанным, задавать не решаюсь.

Целую Вашу руку.

Ваш Б.Пастернак

P.S. Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе *рассчитывал* на встречи с Вами и с Белым. (Маяковского тогда тут не было еще.) Однако разочарованье мое на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, – без которого фикции бы не было.

Последовательности этой я не встретил даже и у Белого, который, страшно сказать, не прочь жить и *такою* жизнью. Я же, по его словам, зову на луну, где жить не всякому к лицу и по нраву.

Письмо 4а
<ок. 19 ноября 1922 г.>
Цветаева – Пастернаку

Мой любимый вид общения – потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. Последнее, что я бы хотела удержать – голос. Письмо – не слова, а голос. (Слова мы подставляем!)

Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой – А <рисунок арки> В – чем выше – (дальше) – тем лучше: дольше. Совершенная встреча: А и В на одном уровне и разгон (ввысь) один и тот же: неизбежно встретятся. Здесь есть какой-то закон, наверное даже простой. Но тем не менее – захудалое, Богом заброшенное (вспомянутое!) – кафэ, – лучше в порту (хотите?), с деревянными залитыми столами, в дыму, – локти и лоб. – Но я свои соблазны оставляю тоже в духе.

* * *

Сейчас расстаются на слишком долго, поэтому *хочу* – ясными и трезвыми словами – знать: насколько – и когда. Потому что я – так или иначе – непременно приеду. Теперь признаюсь в одной своей дурной страсти: искушать людей (испытывать) непомерной своей правдивостью: *небывалой*: как внутри – так вовне, в точности. Соблазн правдой. – Кто вынесет? – Особенно если эта правда в данный час: Осанна! Я не умеряю своей души (только жизнь!). А так как душа – это никогда «я», а всегда «ты» (верней – то!) – то у партнера или опускаются руки (трусливое «да ведь я не такой»), или земля ходит под ногами, – и тогда уже *я* на землю и ноги на мне. Принимаю и это.

Я знаю, что в жизни надо лгать. Но мои встречи не *в жизни*, а в духе, где уже всё победа. Моя вина – ошибка – грех, что средства-то я беру из жизни. *Так* ведя встречу нужно просто молчать: *ВСЁ* внутри. Ведь человек *не может* вынести. «Я – не Бог!»

А потом меня обвиняют в <пропуск одного слова>. Это не забвение: Бог перестал брезжиться (прорываться!) сквозь тебя, ты темный, плотный, свет ушел – и я ушла.

К чему сейчас всё это говорю? А вот: Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. – Ездят же, чтобы купить себе пальто! – Вы не меньше пальто!

<Небольшой пробел в тетради.>

Впечатление об его ирреальности: никогда не поверю, что Вы *есть*. Вы есть временами, потом Вас нет.

То, что Вы пишете о себе (русло, накл<онная> плоск<ость>) – правильно: *<стрелка к концу предыдущего абзаца>*

Вы – слушайте внимательно – как сон, в который возвращаешься (возвр<атные>, повт<орные> сны) – а где сон был, пока тебя не было. / *Не* сон: действующее лицо сна. Или как город: уезжаешь – и его нет, он *будет*, когда ты вернешься.

Пастернак – и сон, этого я еще не написала. Так – в жизни – я Вас не пойму, не охвачу, буду ошибаться, нужен другой подход – сонный. Разрешите вести встречу так: ПОВЕРЬТЕ, разрешите и отрешитесь.

Не думайте: мне всё важно в Вашей жизни: вплоть до нового костюма и денежных дел, я не занимаюсь лизанием сливок (с *меня* их всегда лизали: подыхай, живи как хочешь, будь прохвост<ом> – только пиши хорошие стихи!), но – пока я Вам в реальной жизни не

нужна – будем жить в <пропуск одного слова>. А если бы – как пример – Вам нужно было бы приехать в Прагу, я бы узнала нынешнюю валюту и <оборвано>

Письмо 4б
Мокропсы, 19 нов. ноября 1922 г.
Цветаева – Пастернаку

Мой дорогой Пастернак!

Мой любимый вид общения – потусторонний: сон: видеть во сне.

А второе – переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенное, нежели сон, но законы

Ни то, ни другое – не по заказу: снится и пишется не когда *нам* хочется, а когда хочется: письму – быть написанным, сну – быть увиденным. (Мои письма – *всегда* хотят быть написанными!)

Поэтому, – с самого начала: никогда не грызите себя (хотя бы самым легким грызением!), если не ответите, и ни о какой благодарности не говорите, всякое большое чувство – самоцель.

Ваше письмо я получила нынче в 6 ½ час<ов> утра, и вот в какой сон Вы попали. – Дарю Вам его. – Я иду по каким-то узким мосткам. – Константинополь. – За мной – девочка в длинном платье, маленькая. Я знаю, что она не отстанет и что ведет – она. Но так как она маленькая – она не поспевает, и я беру ее на́ руки: через мою левую руку – полосатый шелковый поток: платье.

Лесенка: подымаемся. (Я, во сне: хорошая примета, а девочка – диво, дивиться.) Полосатые койки на сваях, внизу – черная вода. Девочка с бешеными глазами, но зла мне не сделает. Она меня любит, хотя послана не за тем. И я, во сне: «Укрощаю кротостью!»

И – Ваше письмо. Мне привез его муж из Свободарни (русское студенческое общежитие в Праге). Они вчера справляли годовщину – ночь напролет – и муж приехал с первым утренним поездом.

И то́ письмо я получила та́к. Раз – случайность, два – подозрение на закон.

* * *

У Вас прекрасный почерк: го́ните версту! И версты гривы – и полозья! И вдруг – охлест вожжи!

Сломя голову – и головы не ломает!

Прекрасный, значительный, мужественный почерк. Сразу веришь.

Вашего письма я сначала не поняла: радость и сон затмевали, – ни слова! (Кстати, для меня слово – передача голоса, отнюдь не мысли, умысла!) Но голос слышала, потом рассвели (рассвет) слова, связь. – Я всё поняла. —

Знаете, что осталось в памяти? Ледяной откос – почти отвес – под заревом (Ваше бессмертие!) – и голова в руках, – уроненная.

Теперь слушайте очень внимательно: я знала очень многих поэтов, встречалась, сидела, говорила и, расставаясь, более или менее знала (догадывалась) – жизнь каждого из них, когда меня нет. Ну, пишет, ну, ходит, ну, (в Москве) идет за пайком, ну, (в Берлине) идет в кафе и т. д.

А с Вами – удивительная вещь: я не мыслю себе Вашего дня. (А сколько Вы их прожили – и *каждый* жили, час за часом!) Вы у меня *в жизни* не умещаетесь, очевидно – простите за смелость! – *не в ней / Вы в ней не / не Вы в ней* живете, Вас нужно искать, следить где-то еще. И не потому, что Вы – поэт и «ирреальны», – и Белый поэт, и Белый «ирреален», – нет: не перекликается ли это с тем, что Вы пишете о дельтах, о *прерывности* Вашего бытия.

Это, очевидно, настолько сильно, что я, не зная, перенесла это на *быт. Вы точно вместо себя посылаете в жизнь свою тень,* давая ей все полномочия.

* * *

«Слова на сон». Тогда было лето, и у меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша земная книга на коленях. (Сидела на полу.) – Я тогда десять дней жила ею, – как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась, хватило дыхания ровно на то восьмистишие, которое – я так счастлива – Вам понравилось. —

От одной строки у меня до сих пор падает сердце.

* * *

Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча – *над*. – Закинутые лбы! —

Но сейчас расстаются на слишком долго, поэтому хочу – ясно и трезво: на сколько приехали, когда едете. Не скрою, что рада была бы посидеть с Вами где-нибудь в Богом забытом (вспомянутом) захудалом кафе, в дождь. – Локоть и лоб. – Рада была бы и увидеть Маяковского. Он, очевидно, ведет себя ужасно, – и я была бы в труднейшем положении в Берлине. – Может быть, и буду. —

Как встретились с Эренбургом? Мы с ним раздружились, но я его нежно люблю и, памятуя его великую любовь к Вам, хотела бы, чтобы встреча была хорошая.

Лучшее мое воспоминание из жизни в Берлине (два месяца) – это Ваша книга и Белый. С Белым я, будучи знакома почти с детства, по-настоящему подружилась только этим летом. Он жил, как дух: ел овсянку, которую ему подавала хозяйка, и уходил в поля. Там он мне, однажды, на закате чудно рассказывал про Блока. – Так это у меня и осталось. – Жил он, кстати, *в поселке гробовщиков* и, не зная этого, невинно удивлялся: почему все мужчины в цилиндрах, а все дамы с венками на животах и в черных перчатках.

* * *

Я живу в Чехии (близь Праги), в Мокропсах, в деревенской хате. Последний дом в деревне. Под горой ручей – таскаю воду. Треть дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от московской, *бытовая* ее часть – пожалуй, даже бедней! – но к стихам прибавились: семья и природа. *Месяцами* никого не вижу. Все утра пишу и хожу: здесь чудные горы.

Возьмите у Геликона (Вишняка) стихи, присланные в «Эпопею», это и есть моя жизнь.

А Вам на прощание хочу переписать мой любимый стих, – тоже недавний, в Чехии:

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах – гранит.

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой.

Беззакатного времени
Грозный мел.
Значит, Бог в мои двери —
Раз дом сгорел!

Не удушенный в хламе,
Снам и дням господин,
Как отвесное пламя
Дух – из ранних седин!

И не вы меня предали,
Годы, в тыл!
Эта седость – победа
Бессмертных сил.

Была бы счастлива, если бы прислали новые стихи. Для меня все – новые: знаю только «Сестру мою Жизнь».

А то, что Вы пишете о некоторых совпадениях, соответствиях, догадках – Господи, да ведь это же – не сшибанье лбом! Мой лоб, когда я писала о Вас, был закинут, – и естественно, что я Вас увидела.

М.Ц.

Пастернак, у меня есть к Вам просьба: подарите мне на Рождество Библию: немецкую, непременно готическим шрифтом, *не* большую, но и *не* карманную: естественную. И надпишите. Тщетно вот уже 4 месяца выпрашиваю у Геликона!

Буду возить ее с собой всю жизнь.

Письмо 5
<январь-февраль 1923 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Я давно хотел и должен был поблагодарить Вас за «Царь Девицу». Однако, при Вашей исключительной подлинности, – мне с Вами переписываться не легче, чем с самим собой. Всего охотнее я бы оставил эти слова, как достаточно, вероятно, понятные Вам, безо всякого объясненья. Если же это потребуется, все последующее их объяснит.

Четыре месяца я тут проболтался, больше не могу. Как я рад за Вас, что по причинам, быть может, горьким и стеснительным Вы вынуждены жить не в Берлине.

Чтенье Вашей поэмы было истинным счастьем для меня. С наибольшей легкостью из театрального склада в Кузнецком переулке (помните? – не двор, – впадающая площадка, по всем окнам вывески) – отпускаются напрокат опашни, охабни, кокошники и телогрейки. Вот, наверное, отчего так дурна всякая Билибинщина, а также и артельная кустарщина арбатского (т. е. просвещенно-городского) происхождения. Дурна она, вероятно, своей относительностью. Признаки стили отобраны по сравненью с каким-нибудь другим, путем вычитанья. Эта отрасль говорит о рынке, о вывозе. На этой мякине проводится иностранец, англичанин Стэд. Вещи эти словно созданы на то, чтоб на них глядели вскользь, мельком, вполглаза. Они – художественно бессодержательны.

Берлинская акционерная болтальня на паях затруднила мне сношенья с собою до невозможности. Ваша книжка у меня под рукой, читал я ее дважды, но делом большой трудности, чем-то вроде путешествия о четырех визах представляется мне простой переход от слов к делу, от общего описанья ее достоинств к разметке ее карандашом. Я ее буду читать не раз еще и раз как-нибудь сделаю это. Тогда из этой равномерно-прекрасной книги я выделю те, почти без остатка ее и образующие части, которые особенно изумительны по своей безукоризненности, прозрачности и чистоте. Я обведу рамкою те страницы, по которым целым полотнищем, без складок, падают чистейшие, бесстильнейшие и только себе равные песни, редкие, редкостные, завиднейшие. На других я отмечу, где начало и где конец тех штук и отрезов, на которых так облагороженно-наглядно разыгрываются: движенья Царь Девицы, прощающейся со своими, движенья взбегающих по лесенкам, шаги спускающихся, движенья моря, движенья ветра, движенья постепенно обнажающейся, не в пору зевнувшей, движенья сидящих на корме, движенья принятых на борт. Движенья радости и движенья печали, хотел еще прибавить я и вспомнил, – про изумительные песни эти я уже сказал. Дух содержанья: ждалось бы соединенье *умеренной* <подчеркнуто дважды> лирики со сказочностью (*образностью* <подчеркнуто дважды>), освобожденной от меры. Совсем не то. Редкое и неожиданное сочетанье совершенно безмерного, ну совершенно, совершенно безмерного лиризма с беглым, подробно-опрятным, не копостким и крайне оформленным реализмом. А стиль? Подзоры-то и кровельки, балясины и коньки? Что о них-то?

Вот в том-то и состоит главная прелесть поэмы, что она глубоко первообразна, а не производна, что поверхностной вязи на ней нет, что на нее не ловится иностранец, что беглым и лишь *естественно* завивающимся говорком в ней *излагаются* <подчеркнуто трижды> движенья и состоянья, картины и чувствованья, сплошь *языком* растворенные, языком прирожденно складным, промывным, текучим, не только не думающим о резком орнаменте, но и вообще не знающим отдыха, неустанно-содержательным. Спасибо за доставленное наслажденье. Сейчас его не с чем сравнить. О Билибинщине говорил (неужели не догадались?) с

целью. Ее мыслимость, ее существование рядом, ее соседство, – все это превращает вольные достоинства Вашей сказки в едва оценимые *заслуги*.

* * *

Это письмо лежит у меня более месяца. Отчего же я его не докончил и не отправил? Сейчас перечел его и не вижу тому причины. Но я помню ее. Вероятно, в заключенье мне хотелось, как говорится, вывернуть перед Вами свою душу, а это, по счастью, никогда не удается. Ведь и самая потребность в таких излияньях есть свидетельство слабости, болезненности, волевого изъяна. И замечательно, эта же болезненность и слабость парализуют свое выраженье. Хорошо это устроено. А то что бы получилось? Тяжело мне, ах как тяжело. И ведь бóльшая часть моей жизни прошла так, и кажется, – нет, зачем же так, лучше прямо сказать: – и вижу, так пройдет вся остальная. Но опять я вступаю на эту круговую дорожку. Не к чему. Посылаю Вам книжку, называется она «четвертой книгой стихов» (какая чушь!), не люблю я ее. Этой книжки не люблю я за то, что первою своей половиной она представляет завершенье «Сестры», если позволительно так называть разрыв с нею. В остальном же она скучна и второразрядна. Неужели это огорчит Вас больше, нежели меня самого?

Преданный Вам Б.Пастернак

Письмо 6а
<ок. 10 февраля 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Я сейчас в первый раз в жизни понимаю, что́ такое поэт. Я видала людей, которые прекрасно писали стихи, писали прекрасные стихи. А потом жили, вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки: не только жили: нажив<али>. И достаточно нажив<шись>, позволяли себе стих. – Честное слово! – И они еще были хуже других, ибо *зная* что́ им стихи сто́ют (месяцы и месяцы воздержания! Месяцы и месяцы жильничества! – Не-бы-ти-я), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопрекл<онения>, памятников за́живо. И у меня никогда не было соблазна считать *их* правыми, я галантно кадила – и отходила. Я ведь без конца поэтов знала! И больше всего любила, когда им просто хотелось есть или просто болел зуб: это человечески сближало. Я была нянькой при поэтах, – совсем не поэтом! и не Музой! – молодой (иногда трагической!) нянькой. – Вот. – С поэтами я всегда забывала, что я – поэт.

Но я, Пастернак, устала нянчиться. Из моих выкормышей никогда ничего не получ<алось>, кроме строчек. Вы же знаете, как этого мало.

Вы – Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт. т. е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю – Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу – польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником. Читайте это так же отрешенно, как я пишу: дело не в Вас и не во мне, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедуются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас, но Вы настолько велики, что это знаете.

Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, не с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот ожидание поезда на нашей крохотной станции. Я приходила рано, в начале темноты, когда фонари загорались. (Повороты рельс.) Ходила взад и вперед по темной платформе – далёко! И было одно место, фонарный столб – без света – это было место встречи, я просто вызывала сюда Вас, и долгие бо́к о бок беседы – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ. (Единственное место в России, где я *мыслю* Гёте.)

Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни необходимы, как тот фонарный шест. / *Куда* бы я ни думала, я Вас не миную. / Фонарь всюду будет со мной, встанет на всех моих дорогах. Я выколдую фонарь.

Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что Вы этого ничего не знаете, не смущалась и тем, что всё это без Вашего ведома <вариант: соизволения>. Я не *волей* своей вызывала Вас, если хочешь – можно и расхотеть, хотенье – вздор. Что-то *во мне* хотело. Я то <оборвано>

«На вокзал» и к Пастернаку было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите, никогда нигде *вне* этой асфальтовой дороги. Уходя со станции, я просто расставалась: зрело и трезво. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.

Рассказываю Вам всё это, п.ч. прошло.

Нет, впрочем, лгу! Еще о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь рассказ<ывала> и другой не понима<л>, первая мысль: Пастернак. Надежная, спокойная. Как домой шла. Как на костер шла. *Вне* проверки. Я, например, знаю о Вас, что Вы – из всех – любите Бетховена (даже *больше* Баха!), что Вы больше стихов любите Музыку, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели писать о нем, что Вы католик (как

духовный строй, порода), а *не* православный. Пастернак, я *читаю* в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы.

Мне хочется сказать Вам, и Вы не расс<ердитесь> и не откре́ститесь, п.ч. Вы мужественны и бескорыстны, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (гения, того, что над поэтом), поэт побежден Гением, сдался ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился. (Только низкая корыстная гордыня может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» – когда все дело: в самосожжении!)

Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли.

* * *

Ваша книга. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане», посвятите это стихотворение мне. (Мысленно.) Подарите. Чтоб я знала, что они мои. Чтоб никто не смел думать, что они его. И есть крик, вопиюще мой: Это я, а не Вы – пролетарий! Пастернак, есть тайный шифр. Вы – сплошь шифрованы. Вы безнадежны для «публики». Вы – царская переп<иска>, или полководческая. Вы – переписка Пастернака с его Гением. Если Вас будут любить, то из страха: одни – быть обвиненными в «некультурности», другие, <пропуск одного слова>, *чуя*. Но *знать* … Да и я Вас не знаю, п.ч. и Пастернак часто сам не знает, что ему диктует его Гений, Пастернак пишет буквы, а потом – в прорыве ночного прозрения – на секунду осознает, чтоб утром забыть.

А есть другой мир, где Ваша тайнопись – детская пропись. Горние Вас читают шутя. Поднимите голову ввысь: там – Ваши читатели. «Политехнический зал».

* * *

Ремесло. – Мо́лодец. – «Женск<ое> ничтож<ество>». – Беседа с Вашим гением – о Вас.

* * *

А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Р<оссию>, не повидавшись со мной. Россия для меня = un grand peut-être[6], почти тот-свет. Знай я, что Вы в Австралию, к змеям, к прокаженным, мне бы не было страшно, я бы не окликала. Но в Россию – окликаю. Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне – по делам, честно – к Вам: по Вашу душу, проститься. Вы уже однажды так исчезли – на Девичьем Поле, на кладбище: изъяли себя *из* … Просто: Вас не стало.

Памятуя, боюсь – и борюсь за: что? да просто рукопожатие.

Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон: по той свободе, которая у меня к Вам, по той *беззаветности* (освежите первичный смысл), по той несомненности, по той СЛЕПОТЕ.

Я бы могла написать книгу наших встреч, только восстановляя, *вне* вымысла. Знаю, что *было*. Так, удостоверенная в бытии, сомневаюсь в существовании: просто Вас нету.

Больше просить об этом не буду, только если *не* исполните (под каким бы то ни было предлогом) – рана на жизнь.

Не отъезда я Вашего боюсь, а: исчезновения.

[6] великое Может Быть (*фр.*).

* * *

Вы пишете: «не хочу о себе», и я говорю: не хочу о себе. Стало быть – именно о Вас. Вам плохо, п.ч. Вы с людьми. – И всё. – С деревьями Вы были бы счастливы. Не знаю Ваших дел, но – уезжайте на волю.

Да, одно темное место в Вашем письме. Вы думаете, что я «по причинам гор<ьким> и стесн<ительным>» вне Берлина? Дружочек, я Бога молю всегда жить – как я живу: я *раз* в месяц в Праге, остальные дни – <оборвано>

Единственная моя горечь, что я в Берлине не дождалась Вас.

Никогда не слушайте суждений обо мне людей: я многих задела (любила и разлюбила, нянч<ила> и бросила) – для людей расхождение ведь вопрос самолюбия. За два месяца в Берлине <оборвано>

Единственное, чего люди не прощают, это что без них обходятся. Не слушайте. Если Вам что-либо в моей жизни интересно – сама расскажу.

* * *

Пишите чаще. Без оклика – никогда не напишу. А писать мне Вам / Писать – входить без спросу. Вы же, когда бы обо мне ни думали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответ: мой дом Вам настежь / сам к Вам идет / всегда на полдороге к Вам – где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана.

* * *

Сколько Вам лет? Я, когда меня спрашивают, всегда с гордостью говорю 17 и, одумавшись – 20, кажется. Вдохн<овенно> вру, что «Сестру мою Жизнь» Вы написали 13^{ти} – pour épater le bourgeois[7]. – Лет 27?

[7] для эпатирования буржуа (*фр.*).

Письмо 6б
Мокропсы, 10 нов. февраля 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Пастернак!

Вы первый поэт, которого я – за жизнь – вижу[8]. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Пастернак, я много поэтов знала: и старых и малых, и не один из них меня помнит. Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. – И всё. – Каторжного клейма *поэта* я ни на одном не видела: это жжет за версту! Ярлыков стихотворца видала много – и разных: это, впрочем, легко спадает, при первом дуновении *быта*. Они жили и писали стихи (врозь) – вне наваждения, вне расточения, копя всё в строчки – не только жили: наживались. И достаточно нажившись, разрешали себе стих: маленькую прогулку ins Jenseits1[9]. Они были хуже не-поэтов, ибо *зная*, что́ им стихи стоют (месяцы и месяцы воздержания, скряжничества, небытия!), требовали за них с окружающих непомерной платы: кадил, коленопреклонения, памятников за́живо. И у меня никогда не было соблазна им отказать: галантно кадила – и отходила. И больше всего я любила поэта, когда ему хотелось есть или у него болел зуб: это человечески сближало. Я была *нянькой* при поэтах, ублажительницей их низостей[10], – совсем не поэтом! и не Музой! – молодой (иногда трагической, но всё ж:) – нянькой! С поэтом я всегда забывала, что я – поэт. И если он напоминал – открещивалась.

И – забавно – видя, *как* они их пишут (стихи), я начинала считать их – гениями, а себя, если не ничтожеством – то: причудником пера, чуть ли не проказником. «Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, пла́чу, наряжаюсь – и пишу стихи. Вот Мандельштам, напр<имер>, вот Чурилин, напр<имер> – поэты». Такое отношение заражало: оттого мне всё сходило – и никто со мной не считался, оттого у меня с 1912 г. (мне было 18 лет) по 1922 г. не было ни одной книги, хотя в рукописях – не менее пяти. Оттого я есмь и буду без имени. (Это, кстати, огорчает меня чисто внешне: за 7 мес<яцев>, как я из Берлина, заработала в прошлом месяце 12 тыс<яч> герм<анских> марок, неустанно всюду рассылая. Живу на чешском иждивении, иначе бы сдохла!)

Но вернемся к Вам. Вы, Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт за жизнь. И я так же спокойно ручаюсь за завтрашний день Пастернака, как за вчерашний Байрона. (Кстати: внезапное озарение: Вы будете очень старым, Вам предстоит *долгое* восхождение, постарайтесь не воткнуть Регенту палки в колесо!) – Вы единственный, современником которого я могу себя назвать – и радостно! – во всеуслышание! – называю. Читайте это так же отрешенно, как я это пишу, дело не в Вас и не во мне, я не виновата в том, что Вы не умерли 100 лет назад, это уже почти безлично, и Вы это знаете. Исповедываются не священнику, а Богу. Исповедуюсь (не каюсь, а воскаждаю!) не Вам, а Духу в Вас. Он больше Вас – и не такое еще слышал! Вы же настолько велики, что не ревнуете.

Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь, *не* с книгой. Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе – далеко! И было одно место – фонарный столб – без света, сюда я вызывала Вас. – «Пастер-

[8] Кроме Блока, но он уже не был в живых! А Белый – другое что-то. – *Приписка М.И.Цветаевой.*

[9] в иной (потусторонний) мир (*нем.*).

[10] Аля, случайно взглянув в мое письмо: «И даже *не* при поэтах!» – *Приписка М.И.Цветаевой.*

нак!» И долгие беседы бок-о́-бок – бродячие. В два места я бы хотела с Вами: в Веймар, к Goethe, и на Кавказ (единственное место в России, где я *мыслю* Goethe!).

Я не скажу, что Вы мне необходимы, Вы в моей жизни *необходны, куда* бы я ни думала, фонарь сам встанет. Я выколдую фонарь.

Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что всё это без Вашего ведома и соизволения. Я не волей своей вызывала Вас, если «хочешь» – можно (и должно!) расхотеть, хотенье – вздор. Что-то *во мне* хотело. Да Вашу душу вызвать легко: ее никогда нет дома!

«На вокзал» и: «К Пастернаку» было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите: никогда, нигде, вне этой асфальтовой версты. Уходя со станции, верней: садясь в поезд – я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала. И никогда нарочно не шла. Когда прекратились (необходимые) поездки в Прагу, кончились и Вы.

Рассказываю, потому что прошло.

И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями» – это будет: мой вызов, Ваш приход.

* * *

Еще о союзничестве. Когда я кому-нибудь что-нибудь рассказываю и другой не понимает, первая мысль (ожог!) – Пастернак! И за ожогом – надежность. Как домой шла, как на костер шла: *вне* проверки.

Я, например, знаю о Вас, что Вы – из всех – любите Бетховена (даже *больше* Баха!), что Вы страстней стихов подвержены Музыке, что Вы «искусства» не любите, что Вы не раз думали о Паганини и хотели (и еще напишете!) о нем, что Вы католик (как духовный строй, порода), а не православный. Пастернак, я читаю в Вас, но я, как Вы, не знаю Вашей последней страницы. – Брезжится, впрочем, монастырь. —

Мне хочется сказать Вам, и Вы не рассердитесь и не откреститесь, потому что Вы мужественны и бескорыстны, что в Вашем творчестве больше Гения, чем поэта (Гения – за плечом!), поэт побежден Гением, сдается ему на гнев и на милость, согласился быть глашатаем, отрешился. (Только низкая корысть может сражаться с ангелом! «Самоутверждение» – когда всё дело: в самосожжении!)

Еще, Пастернак, я хочу, чтобы Вас не схоронили, а сожгли.

* * *

Ваша книга. Пастернак, у меня к Вам просьба. «Так начинаются цыгане» – посвятите эти стихи мне. (Мысленно.) Подарите. Чтобы я знала, что они мои. Чтобы никто не смел думать, что они его.

Пастернак, есть тайный шифр. Вы – сплошь шифрованы, Вы безнадежны для «публики». Вы – царская перекличка или полководческая. Вы переписка Пастернака с его Гением. (Что тут делать третьему, когда всё дело: вскрыв – скрыть!) Если Вас будут любить, то из страха: одни, боясь «отстать», другие, зорчайшие – *чуя*. Но знать… Да и я Вас не знаю, никогда не осмелюсь, потому что и Пастернак часто сам не знает, Пастернак пишет буквы, а потом – в прорыве ночного прозрения – на секунду осознаёт, чтобы утром опять забыть.

А есть другой мир, где Ваша тайнопись – Детская пропись. Горние Вас читают шутя. Закиньте выше голову – выше! – Там Ваш «Политехнический зал».

* * *

Воскадив, начну каяться. – Блаженным летом 1922 (скоро год!), когда я получила Вашу книгу, мой первый жест был, закрыв последнюю страницу, распахнуть свое «Ремесло» на первой и – черным по белу: Ваше имя. – Тут начинается низость Я тогда дружила с Геликоном, влюбленным (пожимаю плечами) в мои стихи. Это было черное бархатное ничтожество, умилительное, сплошь на *ш* (Господи, ведь *кот* по-французски – chat! Только сейчас поняла!) Ну, вот. Посвятить мимо его кошачьего замшевого носа «Ремесло» другому, да еще полубогу (каковым Вас, скромно и во всеуслышание, считаю) – у меня сердце сжималось! «Слабость на-аша… Глупость на-аша»… (Песенка. Вспомните напев!) И, скрепя сердце, не проставила. Так и оставила пустой лист.

(Геликон, конечно, через неделю после моего отъезда, меня предал и продал: как кот: коты на могилах *не* умирают!)

Теперь, осознавая, думаю: правильно. Геликон – не в счет, но «Ремесло» уже вчерашний день. Я же к Вам иду только с завтрашним. Так, спокойно и вне пафоса, просто знаю: следующая книга не может быть не Вам. Ведь посвящение – крещение корабля.

* * *

(Кстати, это письмо – беседа с Вашим Гением о Вас, Вы не слушайте.)

* * *

А теперь, Пастернак, просьба: не уезжайте в Россию, не повидавшись со мной. Россия для меня – un grand peut-être, почти тот свет. Уезжай Вы в Гваделупу, к змеям, к прокаженным, я бы не окликнула. Но: в Россию – окликаю. – Итак, Пастернак, предупредите, я приеду. Внешне – по делам, честно – к Вам: по Вашу душу: проститься. Вы уже однажды так исчезли – на Дев<ичьем> Поле, на кладбище: изъяли себя *из* … Вас просто не стало. Помятуя, боюсь – и борюсь за: что? Да просто рукопожатие. Я вообще сомневаюсь в Вашем существовании, не мыслится мне оно, слишком похоже на сон по той беззаветности (освежите первичность слова!), по той несомненности, но той *слепоте*, которая у меня к Вам.

Я бы могла написать книгу наших встреч, только восстановляя, *вне* вымысла. Так удостоверенная в бытии, сомневаюсь в существовании: просто Вас нету. Больше просить об этом не буду, но ответа жду.

Больше просить об этом не буду, только если не исполните (под каким бы то ни было предлогом) – *рана на жизнь*.

Не отъезда я Вашего боюсь, а исчезновения.

* * *

Два раза в Вашем письме: «тяжело». – Только потому, что Вы с людьми: Вы летчик! Идите к богам: к деревьям. Это не лирика; это врачебный совет. Живут же за городом, а в Германии это легче, чем где бы то ни было. У Вас будут книги, тетради, деревья, воздух, достоинство, покой. – Да, одно темное место в Вашем письме: Вы думаете, что я по причинам «горьким и стеснительным» живу вне Берлина? Да Берлин меня *сплошь* обокрал, я уехала нищая, с распиленными хрящами и растянутыми жилами. Люди пера – проказа! Молю Бога всегда так жить, как живу: колодец часовенкой, грохот ручьев, моя собственная скала, козы,

все породы деревьев, тетради, не говоря уж о С. и Але, единственных, кроме Вас и кн<язя> С.Волконского, мне дорогих!

Единственная моя горечь, что я в Б<ерли>не не дождалась Вас. – Если Вы не уедете раньше, думаю приехать в начале мая. —

Никогда не слушайте суждений обо мне людей (друзей!), я многих задела (любила и разлюбила, нянчила и выронила) – для людей расхождение ведь вопрос самолюбия, которое, кстати, по-мужски и по-божески – щажу. – Не слушайте. – Скажу хуже, пуще – но верней!

* * *

Вы получите от меня еще два письма: одно о Ваших и моих писаниях, другое – со стихами к Вам. Потом я замолчу. Без оклика – никогда не напишу. Писать – входить без стуку. Мой же дом всегда на полдороге к Вам. Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответ. Где уж тут: стук в дверь: раз навсегда сорвана!

* * *

Засим, Пастернак, до свидания. – Да, еще Вы должны подарить мне Библию, не из Ваших рук не возьму.

М.Ц.

<На полях:>

Praha II, Vyšehradska tř. 16, Mestsky Hudobinec. Mr S.Efron (для М.Ц.).

Худобинец – значит: убежище для нищих, прохудившихся: богадельня!

Письмо 7
Мокропсы, 11 нов. февраля 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Это письмо будет о Ваших писаниях и – если хватит места и охота не пропадет! – немножко и о своих. Ваша книга – ожог. Та ливень, а эта ожог: мне было больно, и я не дула. (Другие – кольдкрэмом мажут, картофельной мукой присыпают! – Под-ле-цы!) – Ну, вот, обожглась и загорелась, – и сна нет, и дня нет. Только Вы. Вы один. Я сама – собиратель, сама не *от себя*, сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей – во мне. Милый Пастернак, – разрешите перескок: *Вы – явление природы*. – Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди – это вторые руки, поэты – третьи. Стало быть, Вы не человек и не поэт, а *явление природы*. Чистейшие первые руки. Бог по ошибке создал Вас человеком, оттого Вы так и не вжились – ни во что! И – *конечно* – Ваши стихи не человеческие: ни приметы. Бог задумал Вас дубом, а сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (*есть* – такие дубы!), а Вы должны жить. (– На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба и сама *должна жить*, но – мимо!)

Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди – вторые руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты – без стихов, это *первые руки*! Вы – поэт без стихов, т. е. так любят, так горят и так жгут – только не пишущие, пишущие раз, – восьмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении!) пера.

– Почему каждые Ваши стихи звучат, как последние? «После этого он больше не писал».

Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. Первая: Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас *средство*. Страсть эта – *отчаяние сказать*. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, – потому что в нем *всё*. А Вы обречены на слова, и как каторжник изнемогая… Вы хотите *невозможного*, из области слов выходящего. То, что Вы поэт – промах. (Божий – и божественный!)

Вторая: Вы не созерцатель, а вершитель, – только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царем. (Но все ослепительнее встает Ваша католическая сущность, – проповедника-монаха. Клянусь: не внешние приметы!) И оттого, что *дел нет*, – вся бешеная действенность в стихи: ничто на месте не стоит.

А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего станет не нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» – только оттого, что Вы *пытаетесь*: вместить в людей, втиснуть в стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не *протратитесь*. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!) – Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет, – хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства, Вам надо *отвод*: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь.

Лирические стихи (то́, что называют) – отдельные мгновения *одного* движения: движение в прерывности. Помните, в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем – рука. Вправо, чуть правей, еще чуть и т. д. Когда вертишь – движется. Лирика – это линия пунктиром, издалека – целая, черная, а вглядись: сплошь прерывности между …… точками – безвоздушное пространство: смерть. И Вы от стиха до стиха умираете. (Оттого «последнесть» каждого стиха!)

В книге (роман ли, поэма, *даже* статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди – судьбы – души, о которых пишешь, хотят *жить*, хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят! (Расставание с героем – всегда разрыв!) А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю. Чье-то детство. Не приснилось же? Но глазами ее не видела. Не Вы ли сами обмолвились в Москве? Вроде Лилит. Кажется, и Геликон говорил.

Не забудьте написать.

Теперь о книге вплотную. Сначала наилюбимейшие цельные стихи.

До страсти: Маргарита. «Облако. Звезды. И сбоку…», «Я их мог позабыть» (сплошь), – и последнее.

Жар (ожог) – от них.

Вы вторую часть книги называете «второразрядной». – Дружочек, в людях я загораюсь и от шестого сорта, здесь я не судья, но – стихи! «Я их мог позабыть» – ведь это вторая часть!

Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу – неповинно, как человека. За то, что написано *тогда-то*, среди *тех-то, там-то*. За то, что *это* написано, а не то. – В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять. В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывается, как змея выпрастывается из всех семи кож. Может быть, за это Вы ее и не любите. Какую книгу свою Вы считаете первой и – сколько – считаете написали?

14 нов. февраля

Письмо залежалось. Мне его трудно писать. Всё, что я хочу сказать Вам – так непомерно! Возвращаясь к первой его части, верней к тому, уже отделанному (письма мои к Вам – перерывы в том непрерывном письме моем к Вам, коим являются все мои дни после получения книги. Как Вы долго звучите, – пробив!)… Возвращаясь к «единственному поэту за жизнь» и страстнейше проверив: *да*! Один раз только, когда я встретилась с Т.Чурилиным («Весна после смерти»), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра, – сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипывая ему перья из крыл. (А Вы́ – бережны?) Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем он сам. (Ничего, кроме него.) – Любя, может быть, страстно! – (*За*вершение, *до*вершение: *до, за* – предел!) Я же знаю, что Ваш предел – Ваша физическая смерть.

Ваша книга. Большой соблазн написать о ней. А знаете, есть что-то у Вас от Lenau. (Почему в родстве неуклонно встает – германское?) Вы его когда-нибудь читали?

Dunkle Zypressen!
Die Welt ist gar zu lustig, —
Es wird *doch* alles vergessen![11]

– Не Ваши? – Особенно вторая строка. – И Вы сами похожи на кипарис.

Но мешаете писать – Вы же. Это прорвалось как плотина – стихи к Вам. И я такие странные вещи из них узнаю. Швыряет, как волны. Вы *утомительны* в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, *опрокинутая* всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: срок, чувств, озарений, – да и просто шумов! Прочтете – проверьте. Что-то встало, и расплылось, и кончать не хочет, – а я унять не могу. Разве от *человека* такое бывает?! Я с человеком в себе, как с псом: надоел – на цепь. С ангелами (аггелами!) играть труднее.

Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наважде-

[11] Темные кипарисы! / Мир слишком уж весел, – / А ведь всё будет забыто! (*нем.*).

ние, и не я ее кончила, а она меня, – расстались, как разорвались! – и я, освобожденная, уже радовалась: вот буду писать самодержавные стихи и переписывать книгу записей, – исподволь – и всё так хорошо пойдет.

И вдруг – Вы: «дикий, скользящий, растущий»… (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами! —

(И вот уже стих: С аггелами – не игрывала!)

– Смеюсь, это никогда не перейдет в ненависть. Только трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в живых, при моем безукоризненном голосе, столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству.

Пастернак, я в жизни – волей стиха – пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы – не умер!), сама – 20-ти лет – легкомысленно наколдовала: «И руками не потянусь». И была же секунда, Пастернак, когда я стояла с ним *рядом*, в толпе, плечо с плечом (семь лет спустя!), глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие *не* красивые (стриженый, больной) – бедные волосы, на пыльный воротник заношенного пиджака. – Стихи в кармане – ру́ку протянуть – не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда.) Ах, я должна Вам всё это рассказать, возьмите и мой жизненный (?) опыт: опыт опасных – чуть ли не смертных – игр.

Сумейте, наконец, быть тем, кому это *нужно* слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (*читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!*), чтобы сквозь Вас – как сквозь Бога – ПРОРВОЙ!

Ведь знаете: И́СКОСА – всё очень просто, мое «в упор» всегда встречало ИСКОСА, робкую людскую кось. Когда нужно было слушать – приглядывались, сбивая меня с голосу.

– Устала. – И лист кончается. – Стихи пришлю, только не сейчас.

М.Ц.

Письмо 8
Прага, 15 нов. февраля 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Долетела Ваша открытка с ответными крышами. – А все-таки я Вас с крышами перекричу! – Нате, любуйтесь!

Недоразумение выяснилось: письма просто встретились (разминулись). С Э<ренбур>гом у нас вышло наоборот, т. е. не с письмами вышло, а с людьми!

Пишу Вам после долгого трудового дня, лягу и буду утешаться «описью Вашего стихотворного имущества», – поразительно утешает от всех других имуществ: наличности их и отсутствия!

До свидания. Еще одно письмо за мной: стихи.

М.Ц.

Письмо 9
22 февраля 1923 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Хотя бы даже из одного любопытства только, не ждите от меня немедленного ответа на письма, потому что, будучи без сравненья ниже Вас и Ваших представлений, я не принадлежу сейчас, как мне бы того хотелось, – ни Вам, ни им. Я не могу не предполагать у Вас некоторого ожиданья письма по причине того трудно сдерживаемого нетерпенья, с каким сам я жду и ищу за него приняться, и Вы простите мне этот неловкий, но естественный перенос моих собственных чувств с себя на Вас. Целую Вашу руку. До скорого свиданья.

Ваш Б.П.

Письмо 10
<кон. февраля 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Любезность или нежелание огорчить? Робость <вариант: глухота> – или нежелание принять?

А знаете, как это называется? Соблазн *избытком*. Из всех за жизнь – только один вместил: 61 г. от роду и – очевидно – миллиардер, т. е. привыкший.

А у Вас же великолепный выход: что́ превышает – пусть идет на долю *Гения*. Он вместит (бездонен).

Это не игра, п.ч. на игру нужен *досуг*. Я же задушена насущностями, от стихов до вынесения помоев, до глубокой ночи. Это *кровное*. Если хотите: кровная игра. Для меня всегда важно прилагательное.

Отношение к Вам я считаю срывом, – м.б. и ввысь. (Вряд ли.)

* * *

Я не в том возрасте, когда есть человеч<еские> ист<ины>.

* * *

Я не тот (я другой!) – тогда радуюсь. Но чаще не тот – просто *никто*. Тогда грущу и отступаюсь.

Письмо 11
6 марта 1923 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна!

Мы уезжаем 18 марта. В мае 1925 года я увижу Вас в Веймаре, даже и в том случае, если мы свидимся с Вами на днях. Этого последнего я бы желал всей душою. Я не боюсь того, что мне станет после этого трудней уезжать отсюда, потому что Веймар останется впереди и будет целью и поддержкой. Я не боюсь также, что лишусь Вашей дружбы по моем свиданьи с Вами, что бы плачевного я Вам ни рассказал и Вы бы ни увидали, потому что то и другое явится естественным продолженьем Ваших догадок не обо мне, как, за всеми поправками, Вам все-таки угодно думать, – о, далеко нет, но о том родном и редкостном мире, которым Вы облюбованы, вероятно, не в пример больше моего и которого Вы коснулись родною рукой, родным, кровно знакомым движеньем.

Темы «первый поэт за жизнь», «Пастернак» и пр. я навсегда хотел бы устранить из нашей переписки. Извините за неучтивость. Горячность Ваша иного назначенья. Многое, несмотря на душевно-родственные мне нотабены, препровождено у Вас не по принадлежности. Будьте же милостивее впредь. Ведь читать это – больно.

За одно благодарю страшно. За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же и отвечаю. Это – подарок. С этой надеждой я не расстанусь. Но Вы забыли может быть? Это у Вас в первом письме. «Когда бы Вы ни писали, знайте, что Ваша мысль – всегда в ответ». А вот другое внушенье, это из второго. «Сумейте наконец быть тем, кому это *нужно* слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим, чтобы сквозь Вас, как сквозь Бога, – прорвой!» Этого наказа я не принимаю, я его парирую. Мне в нем не нравятся два слова. «Сумейте» и «наконец». С Вами я меньше всего хотел бы что-нибудь *уметь*, слышать мне Вас без уменья *надо*, без установки на Вас, дело опять не в этом. Дорогая Марина Ивановна, будемте действительно оба, всерьез и надолго, тем, чем мы за эти две недели стали, друг другу этого не называя. В заключенье позвольте отнять у Вас право сердиться на меня за это письмо. Ему надлежало выразить две вещи. Одну, простейшую, непомерной глубины – Вам в лицо. Другую, тоже простую, но запутанности чрезвычайной, – всем вообще, о судьбе, о житье-бытье, о всякой всячине. Эту нелегкую долю оно с себя с самого же начала сложило. Напишите тотчас, приедете ли Вы, т<ак> к<ак> я пишу в расчете на живой и близкий разговор с Вами.

Ваш Б.П.

Письмо 12
Прага, 8 нов. марта 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Со всех сторон слышу, что Вы уезжаете в Россию (сообщают наряду с отъездом Шкапской). Но я это давно знала, – еще до Вашего выезда!

Письмо Ваше получила, Вы добры и заботливы. Оставьте адрес, чтобы я могла переслать Вам стихи. «Ремесло» пришлю тотчас же, как получу. Уже писала Геликону. Может быть, застанет Вас еще в Берлине.

– Что еще? – Поклонитесь Москве.

Еще раз спасибо за внимание и память, и – от всей души – добрый путь!

М.Ц.

Письмо 13а
9 марта 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

<В углу листа:>
Посвящение Февраля. Крыло Вашего отлета.

Пишу Вам в легкой веселой лихорадке (предсмертной, я не боюсь больших слов, п.ч. у меня большие чувства). Пастернак, я не приеду. (У меня болен муж, и на визу нужно 2 недели. Если бы он был здоров, он бы м.б. сумел что-нибудь устроить, а так я без рук.) На визу нужно две недели (разрешение из Берлина, свидетельство о тяжелой болезни родственника, здешняя волокита). У меня здесь (как везде) ни друзей, ни связей. Я уже неделю назад узнала от Л.М.Эренбург о Вашем отъезде: собирается… Но сборы – это месяцы! Кроме того, я не имела Вашего письменного разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки и ждала. Теперь знаю, но поздно. Пишу Вам вне расчета и вне лукавства и вне трусости. (Объясню!) – С получения Ваших «Тем и Варьяций», нет, – раньше, с известия о Вашем приезде, я сразу сказала: Я его увижу. С Вашей лиловой книжечки я это превратила в явь, т. е. принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав ее окончание на ½ апреля. Работала все дни, не разгибая спины. – Гору сдвинуть! – Какая связь? Ясно. Так вскинуться я не вправе (перед *жизненной* собой!). У меня (окружающих) *очень* трудная жизнь с моим отъездом – весь чертов быт на них. Мне встречу с Вами нужно было заработать (перед собой). Это я и делала. Теперь поздно: книга будет, а Вас нет. Вы мне нужны, а книга нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду, *НЕ* больше, – ложь! Этот романтизм я переросла, как и Вы), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Больше, чем я сейчас – *нельзя*!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовищно, – Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18го *целый день* (ибо не знаю часа отъезда) буду провожать Вас, – пока души хватит.

Не приеду, п.ч. поздно, п.ч. я беспомощна, п.ч. Сло́ним, например, достанет разрешение в час, п.ч. это моя судьба – потеря.

* * *

А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду ЖИТЬ этим все два года напролет. И если за эти годы умру, это (Вы!) будет моей *пред* последней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю, 16^{ти} лет 2 года подряд, день <в> день, час в час, любила Герцога Рейхштадтского (Наполеона II), любила сквозь всё и всех, *слепая* жила. Пастернак, я себя знаю. Вы – мой дом, к Вам я буду думать *домой*, каждую секунду, я знаю. Сейчас Весна <оборвано>

(У меня много записано в тетрадке о Вас эти дни. Когда-нибудь пришлю.) Сейчас у меня мысли путаются: как перед смертью: *ВСЁ* нужно сказать.

Предстоит огромная Бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет – Вы. Теперь мгновенная самооборона: как с этим жить? Ведь бесконечные вечера, костры, рассветы, я себя знаю, я заранее в ужасе. Тогда, летом, я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, все это осталось на каменном отвесе

берлинского балкона и в зап<исных> к<нижках>. Но сейчас я никуда не уеду, никуда не уйду. Это (Вы) уже поселилось в моей *жизни* (не только во мне!), приобрело оседлость.

Теперь, резко: что́ именно? В чем дело! Я честна и ясна: СЛОВА – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) Насколько – не знаю, увидите из февральских стихов. Самое точное: непрерывная и все …. устремление души, всего существа. К одному знаменателю. Ясно? Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, выходом, Вам ясно? Законным. Ведь лютейшего соблазна и страшнейшей безнаказанности нет: расстояние! / пространство.

* * *

А теперь просто: я живой человек, и мне ОЧЕНЬ больно. Где-то на высотах себя – нет, в глубине, в сердцевине – боль. Эти дни (сегодня 9^{oe}) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

* * *

Февраль 1923 г. в моей жизни – Ваш. Делайте с ним, что хотите.

* * *

П<астерна>к, два года роста впереди, *до* Веймара. (Вдруг – по-безумному! – начинаю верить!) Буду присылать Вам стихи. О Вас, поэте, буду говорить другим: деревьям и, если будут, друзьям. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда остается одно: о себе к Вам (в упор) то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела.

Слово о Вашей – мысли навстречу моей *вечной* остается в силе. Другое, которое Вам было неприятно, должна истолковать: Сумейте, означало не выучит<есь>, «Сделайте чудо, наконец» – увы относ<илось> ко мне, а не к Вам. Т. е. после стольких не-чудес, вот оно, наконец, чудо! (Которого *хочу*!) …Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.

* * *

Непосредственно после этого письма Вы получите другое, со стихами. Сделайте мне радость, прочтите их только в вагоне, когда поезд тронется. Вторая просьба: оставьте верный адрес.

– Наши письма опять разминулись, открытка была в ответ на первое. Я тогда не поняла «До скорого свидания», – теперь ясно, но поздно.

Письмо 13б
Мокропсы, 9 нов. марта 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Пастернак,

Я не приеду, – у меня советский паспорт и нет свидетельства об умирающем родственнике в Берлине, и нет связей, чтобы это осилить, – в лучшем случае виза длится две недели. (Тотчас же по получении Вашего письма навела точнейшие справки.) Если бы Вы написали раньше, и если бы я знала, что Вы так скоро едете… Неделю тому назад – беглое упоминание в письме Л.М.Э<ренбург>: Пастернак собирается в Россию… Потом пошло: и тот и другой, все вскользь, без обозначения срока.

Милый Пастернак, у меня ничего нет, кроме моего *рвения* к Вам, это не поможет. Я всё ждала Вашего письма, я не смела действовать без Вашего разрешения, я не знала, нужно Вам или нет. Я просто опустила руки. (Пишу Вам в веселой предсмертной лихорадке.) Теперь знаю, но поздно.

С получения Ваших «Тем и Вариаций» – нет, раньше, с известия о Вашем приезде, я сказала: я его увижу. С Вашей лиловой книжечки это ожило, превратилось в явь (кровь), я принялась за большую книгу прозы (переписку!), рассчитав окончание ее на середину апреля. Работала все дни, не разгибая спины. Какая связь? Ясно. Та́к вскинуться я не вправе (перед *жизненной* собой!). У меня (окружающих) очень трудная жизнь. С моим отъездом – весь чертов быт на них. Я ревностно принялась. Теперь поздно: книга будет, а Вы – нет. Вы мне нужны, а книга – нет.

Еще последнее слово: не из лукавства (больше будете помнить, если не приеду. *Не* больше, – ложь!), не из расчета (слишком буду помнить, если увижу! Всё равно *слишком* – и больше – нельзя!) и не из трусости (разочаровать, разочароваться).

Все равно, это чудовищно – Ваш отъезд, с берлинского ли дебаркадера, с моей ли богемской горы, с которой 18-го целый день (ибо не знаю часа!) буду провожать Вас – пока души хватит.

Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним, напр<имер>, достает разрешение в час, потому что это моя судьба – потеря.

* * *

А теперь о Веймаре. Пастернак, не шутите. Я буду *жить* этим все два года напролет. И если за эти годы умру (*не* умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой (ходила справляться о визе у только что ездивших) – шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не о Вас, о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, – ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью.)

Предстоит огромная бессонница Весны и Лета, я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет – Вы. Как с этим жить? Дело не в том, что Вы – там, а я – здесь, дело в том, что Вы будете *там*, что я никогда не буду знать, есть Вы или нет. Тоска *по* Вас и страх *за* Вас, дикий страх, я себя знаю.

Пастернак, это началось с «Сестры», я Вам уже писала. Но тогда, летом, я это остановила, перерубила отъездом в другую страну, в другую жизнь, а теперь моя жизнь – Вы, и мне некуда уехать.

Теперь, резко: *что́* именно? В чем дело? Я честна и ясна, *сло́ва* – клянусь! – для этого не знаю. (Перепробую все!) Наско́лько не знаю – увидите из февральских стихов. Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным, – Вам ясно? Выдохом! Я бы (от Вас же!) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: *чувства*, уже исключающие понятие меры! – И я говорю меньше, чем есть.

А теперь просто: я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя – лед (о*трешение*!), в глубине, в сердцевине – боль. Эти дни (сегодня 9-ое) до Вашего отъезда я буду очень мучиться.

Пастернак, два года роста впереди, *до* Веймара. (Вдруг – по-безумному! – начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно. – Буду присылать Вам стихи и всё, что у меня будет в жизни. О Вас, поэте, я буду говорить другим. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда останется одно: о себе к Вам (в упор), то́, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела. Пастернак, если Вам вдруг станет трудно – или не нужно, – ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело, – как тогда, в феврале, стихи.

Сейчас 2 ч<аса> ночи. – Пастернак, Вы будете живы? – Два года – что́ это? Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство. Я сейчас шла по отвесу горы, вижу пролетом поезд, я подумала: вот! Пастернак, ни одного поезда не будет за эти… постойте: 730 дней! – чтобы я <оборвано>

* * *

Ваша изящная передача… И виду не подав! – Теряюсь. – «За позволенье думать, что обращаясь к Вам, Вам же отвечаю…» И еще, не забыла ли я? Нет, не забыла, если *я* забуду, мысль моя к Вам – не забудет.

А то, от чего Вы открещиваетесь, надо читать так: «Сделайте чудо (у меня: «сумейте»), будьте наконец тем»… «Наконец» – не к Вам, так, с пера сорвалось.

* * *

Вы не бойтесь. Это одно́ такое письмо. Я ведь не глупей стала – и не нище́й, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение, Вы еще не понимаете, что Вы – одаривающий. Буду в меру. В стихах – нет. Но в стихах Вы простите.

Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, – благодаря Вам! Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь – только перо!

* * *

Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите – и страх, что, *поверив*, отшатнетесь. Я знаю, дело внешней меры. Внешней безмерностью не только грешу. Внешне – мне всё слишком много: и от другого и – особенно! – от себя. Мое горе с Вами в том (*уже* горе!), что слово для меня ВПЛОТЬ – чувство: наивнутреннейшее. Если бы мы с Вами встретились, Вы бы меня не узнали, сразу бы отлегло. В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудности этого. – Вам ясно? – В жизни я *безмерно* – дика, из рук скольжу.

* * *

Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов! Мы еще ни о чем не говорили. В Веймаре будет долгий разговор.

* * *

Перо из рук… Уже выходить из княжества слов… Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов – в княжество снов.

Пастернак, я буду думать о Вас только хорошее, настоящее, большое. – Как через сто лет! – Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи.

Завтра утром допишу. Сейчас больше трех, и Вы давно спите. Я с Вами всю ночь говорила сонным.

М.Ц.

10 нов. марта, утром:

Целая страница еще впереди, – целый белый блаженный лист – на всё! Теперь пойдут просьбы: во-первых, освободите меня в обращении от отчества: я родства не помнящий! во-вторых, подарите мне Ваше прекрасное имя: Борис (княжеское!), чтобы я на все лады – и всем деревьям, – и всем ветрам! Злоупотреблять им не буду. В-третьих (бытовое), пойдите по приезде к Н.А.К<оган> (жене П<етра> С<еменовича>, матери Блоковского мальчика) и расскажите ей обо мне – что знаете. Скажите, что писала ей много раз и никогда не получала ответа. Скажите, что я ее и Сашу (сына) помню и люблю, дайте мой адрес. Да, еще очень важное: я переслала (т. е. Геликон) Н<адежде> А<лександровне> – для сестры – четыре доллара. Дошли ли? Если не забудете, попросите Н.А. передать сестре, что я ей писала бесконечное число раз и также в ответ – ни звука… Теперь еще, Пастернак, родной, просьба: не захватите ли Вы с собой три книжки моего «Ремесла» (возьмите у Геликона, объяснив) – все три сдали бы Н.А.: один ей, другой – моей сестре, третий – Павлику Антокольскому – мы с ним дружили в детстве (в начале революции).

О «Ремесле». Вчера, только что получив Ваше письмо, Вам его выслала, – свой экземпляр, пробный, немножко замурзанный, простите, другого не было. *Очень* хочу, чтобы Вы мне написали о «Переулочках», что́ встает? *Фабула* (связь) ни до кого не доходит, – только до одного дошла: Чаброва, кому и посвятила, но у него дважды было воспаление мозга! Для меня вещь ясна, как день, *всё* сказано. Другие слышат только шумы, и это для меня оскорбительно. Это, пожалуй, моя любимая вещь, написанная, мне важно и нужно знать, как – Вам. Доходят ли все три царства и последний соблазн? Ясна ли грубая бытовая развязка?

Одной моей вещи Вы еще не знаете. «Мо́лодца». Жила ею от Вас (осени) до Вас же (февраля). Прочтя ее, Вы может быть многое уясните. Это лютая вещь, никак не могла расстаться. Еще из просьб: присылайте стихи, это мне такое же освобождение, как собственные. Живописуйте *быт*, где живете и пишете, Москву, воздух, себя в пространстве. Это мне важно, я могу устать (от счастья!) думать в «никуда». – Фонарей и улиц много! – Когда мне дорог человек, мне дорога *вся* его жизнь, самый нищенский быт – драгоценен! И формулой: Ваш *быт* мне дороже чужого бытия!

Вчера вечером (я еще не распечатывала Вашего письма, в руке держала), вопль моей дочери: – «Марина, Марина, идите!» (я мысленно: небо или собака?) Выхожу. Вытянутой рукой указывает. Пол-неба, Пастернак, в крыле, крыло в пол-неба, – невиданное! Слов таких

нет для цвета! Свет, ставший цветом! И мчит, запахнув пол-неба. И я, в упор: «Крыло Вашего отъезда!»

Такими *знаками* и *приметами* буду жить.

* * *

Посылаю стихи «Эмигрант». Хочу, чтобы прочли их еще в Берлине. Остальные (от первого до последнего) будут в письме которое высылаю следом. Их, – это моя нежная и настойчивая просьба, – Вы прочтете только в вагоне, когда поезд тронется.

* * *

Если будут очень ругать за «белогвардейщину» в Москве, – не огорчайтесь. Это мой крест. *Добровольный*. С Вами я вне.

Последние слова: будьте живы, больше мне ничего не нужно.

М.Ц.

– Оставьте адрес. —

Приложение
Стихи к вам:

1
Гора

Не надо ее окликать:
Ей отдых – что воздух. Ей зов
Твой – раною по рукоять.
До самых органных низов

Встревожена, в самую грудь
Пробужена, бойся, с высот
Своих сталактитовых (– будь!)
Пожалуй – органом вспоет.

А справишься? Сталь и базальт —
Гора, но лавиной в лазурь
На твой серафический альт
Вспоет – полногласием бурь.

– И сбудется! – Бойся! – Из ста
На сотый срываются… – Чу!
На оклик гортанный певца
Органною бурею мщу!

7 нов. февраля 1923 г.

2

Нет, правды не оспаривай!
Меж кафедральных Альп
То бьется о розариум
Неоперенный альт.

Девичий и мальчишеский:
На самом рубеже.
Единственный из тысячи —
И сорванный уже.

В само́м истоке суженный:
Растворены вотще
Сто и одна жемчужина
В голосовом луче.

Пой, пой, – миры поклонятся!
Но Регент: «Голос тот
Над кровною покойницей:
Над Музою поет!

Я в голосах мальчишеских
Знаток…» – и в прах и в кровь,
Снопом лучей рассыпавшись
О гробовой покров.

Нет, сказок не насказывай:
Не радужная хрупь:
Кантатой Метастазовой
Растерзанная грудь.

Клянусь дарами Божьими:
Своей душой живой! —
Что всех высот дороже мне
Твой срыв голосовой!

8 нов. февраля

3
Эмигрант

Здесь, меж вами: домами, деньгами, дымами,
Дамами, Думами,
Не слюбившись с Вами, не сбившись с вами
Неким —
Шуманом пронося под полой весну:

Выше! и́з виду!
Соловьиным тремоло на весу —
Некий – избранный.
Боязливейший, ибо взяв на дыб —
Ноги лижете!
Заблудившийся между грыж и глыб
Бог в блудилище!

Лишний! Вышний! Выходец! Вызов! Ввысь
Не отвыкший… Виселиц
Не принявший… В рвани валют и виз
Веги – выходец.

9 нов. февраля

(NB! После «неким» – задержка дыхания – и: Шу́маном.)

4

Выше! Выше! Лови – летчицу!
Не спросившись лозы отческой —
Нереидою по – лощется,
Нереидою в ла – зурь!

Лира! Лира! Хвалынь синяя!
Полыхание крыл в скинии!
Над мотыками и́ спинами
Полыхание двух бурь!
Муза! Муза! Да как смеешь ты?
Только узел фаты веющей!
Или ветер страниц – шелестом
О страницы – и смыв, взмыл…

И покамест – счета – кипами,
И покамест – сердца – хрипами
Закипание – до – кипени
Двух вспененных – крепись! – крыл.

Так, над вашей игрой крупною,
(Между трупами – и́ – куклами!)
Не общупана, не́ куплена,
Полыхая и пля – ша —

Шестикрылая, ра – душная,
Между мнимыми – ниц! – сущая,
Не задушена вашими тушами
Ду – ша!

10 нов. февраля

5

Из недр – и на ветвь… рысями!
Из недр – и на ветр… свистами!

Гусиным пером писаны?
Да это ж стрела скифская!

Крутого крыла грифова
Последняя зга – Скифия!

Сосед, не спеши! Нечего
Спешить, коли час – тысячный…
Разменной стрелой встречною
Когда-нибудь там – спишемся…

Вели – кая – и – тихая
Меж мной и тобой – Скифия…
И спи, молодой, смутный мой
Сириец, стрелу смертную
Кимвалами и лютнями
Глуша…
Не ушам смертного

(Единожды в век слышимый)
Эпический бег – Скифии!

11 нов. февраля

6
Колыбельная

Как по синей по степи́
Да из звездного ковша
Да на лоб тебе да…
– Спи,
Синь подушками глуша.

Дыши да не дунь,
Гляди да не глянь.
Волынь-криволунь,
Хвалынь-колывань.

Как по льстивой по трости́,
Ро́сным бисером плеща,
Заработают персты…
(Шаг – подушками глуша:)

Лежи – да не двинь,
Дрожи – да не грянь.
Волынь-перелынь,
Хвалынь-завирань.

Как из моря из Каспий —
ского – синего плаща,
Стрела свистнула да…
(спи,
Кровь – подушками глуша…)
Лови – да не тронь,
Тони – да не кань.
Волынь-перезвонь,
Хвалынь-целовань.

13 нов. февраля

7
Богиня Иштар

(Луны и Войны.
Ее, по словам Персов, чтили Скифы.)

От стрел и от чар,
От гнезд и от нор,
Богиня Иштар,
Храни мой шатер:

Братьев, сестер.

Руды моей вар,
Вражды моей чан,
Богиня Иштар,
Храни мой колчан…

(Взял меня – хан!)

Чтоб не́ жил кто стар
Чтоб не́ жил кто хвор
Богиня Иштар
Храни мой костер

(Пламень востер!)

Чтоб не́ жил кто стар
Чтоб не́ жил кто зол
Богиня Иштар

Храни мой котел

(Зарев и смол!)
Чтоб не́ жил – кто стар,
Чтоб нежил – кто юн!
Богиня Иштар
Стреми мой табун
В тридевять лун!

14 нов. февраля

8
Лютня

Лютня! Безумица! Каждый раз,
Царского беса вспугивая:
– «Перед Саулом-Царем кичась…»
(Да не струна ж – а судорога!)

Лютня! Ослушница! Каждый час,
Струны стрелой натягивая:
– «Перед Саулом-Царем кичась —
Не заиграться б с аггелами!»

Горе! Как рыбарь какой стою
Перед пустой жемчужницею.
Это же оловом соловью
Глотку залить… да хуже еще:

Это – бессмертную душу – в пах
Первому добру мо́лодцу…
Это – но хуже, чем в кровь и в прах:
Это – срываться с голосу!

И сорвалась же! – Иди, будь здрав,
Бедный Давид… – Есть пригороды!
Перед Саулом-Царем играв
С аггелами – не игрывала!

14 февраля

9
Азраил

I
От руки моей не взыгрывал,
На груди моей – не всплакивал…

Непреложней и незыблемей
Опрокинутого факела:

Над душой моей – в изглавии,
Над страдой моей – в изножии…
(От руки моей не вздрагивал, —
Не твоей рукой – низложена!)

Азраил! В ночах без месяца
И без звезд – дороги скошены.
В этот час тяжело-весящий
Я тебе не буду ношею…

Азраил! В ночах без выходов
И без звезд: личины сорваны!
В этот час тяжело-дышущий
Я тебе не буду прорвою…

А потом – перстом – как факелом
Напиши в рассветных серостях
О жене, что назвала тебя
Азраилом – вместо Эроса.

II
(последнее)
Оперением зим
Овевающий шаг наш валок —
Херувим
Марий годовалых!
В шестикнижие крыл
Окунающий лик как в воду —
Гавриил —
Жених безбородый!

И над трепетом жил,
И над лепетом уст виновных:
Азраил —
Последний любовник.

17 нов. февраля 1923 г.

М.Ц.

Письмо 14
<ок. 20 марта 1923 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна.

Вы видели, Вы слышали это? Призовите на помощь Ваше родное воображенье и представьте себе жизнь со всеми ее странностями и непорядками. Осмотритесь в этом представленьи: в нем найдите объясненье моего сдержанного величанья Вас и дикого этого запозданья. Увы, даже и это письмо преждевременно и пронесено тайком, под полою. В чем же дело? Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой, терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит воочию, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всею горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит. Это роковая незадача, что мы не встретились втроем. Тогда от этой низкой тяжбы избавлены были бы все трое. Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразумений. Как рассказать мне ей то, что нас с вами связало, когда *даже и Вам* мне этого не выразить, ибо единственным выраженьем этого будет ближайшая наша жизнь в ее труде, в ее сосредоточенной тишине и в той *силе*, которую я единственно силою-то и почитаю и которая предшествует *размерам* и их творит и зарождает, которая равна быть может точке и, дыша, отепляет своею умною нежностью безмерную вселенную, развернутую, раскинутую и сдерживаемую ее теплом. Что сказать мне Вам обо всем этом, если уже и сейчас возможность писать Вам или «взяться с Вами за дело» (в чем мне пока отказано) я *заменяю* чтеньем Толстого, ну хотя бы Воскресенья, что под рукой сейчас у меня. Вы – сестра мне, – и подумайте, с какой болью я закусываю при каждой новой строчке губы, чтобы не дать прорваться этому слову величайшей нашей мужской выразительности, дабы его горячая правда не попала в беду по моей ли малости, или по Вашей молодости, или по чем еще ином, как это всегда почти бывает с лучшими, с наилучшими достояньями человека.

Надо ли Вам, *такой* сестре, так по-родному хорошо знакомой со всеми секретами породистого и *нравственно* породистого благородства (субстанция печалящая и усмешливая), говорить, что не Елена книжки – моя жена, что *то* все ушло в катастрофу, в несуществованье, что существованье далось мне ценой перелома, что я учился долго и трудно равнодушью, что полюбив, не дал этому чувству расти, а женился, чтобы не было опять стихов и катастроф, чтобы не быть смешным, чтобы быть человеком, – и что я узнал чувства делимые, множественные, бренные и фрагментарные, не выражающиеся в стихах и их не знающие, но как бы наблюдающие человека и его сердце и их безмолвно обвиняющие. Надо ли говорить Вам, что я далеко не тот, чтобы легкомысленно над этими *призраками чувств*, дающими жизнь на земле не призракам, *но живым детям,* насмеяться за то только, что они не поют и не хватают за сердце своим одиноким, неделимым и бесследным богоподобьем, а смотрят, всматриваются и размножаются деленьем. О, трудно мне об этом и так, второпях. Но свято и это. Однако иначе, суше, совсем иначе, чем принято это умиленно выражать. Осенью ждем мы ребенка, это ее, бедную, и погнало домой. Вот и едем. – Марина, если Женя проснется, я оборву письмо и так пошлю. Этот один обман да простится всем нам троим, – он невольный, дальше поднимемся, другого никогда не будет.

Когда я прочел Ваше последнее письмо, у меня сердце сжалось от боли. Но это было заблужденьем. В следующую же минуту я поблагодарил Бога за то, что не встретил Вас летом 17 года. А то бы я *только* влюбился в Вас (и с Вами не было бы катастрофы, ибо их было бы две, а этого не бывает (т. е. у Вас и у меня)). Т. е. много бы ненависти осталось у нас по том, и такое потом обязательно бы последовало.

Письма не кончил. Опять просьба, уже раз высказанная Вам. Не думайте обо мне и об ответе, они придут сами собой. Стихов до Москвы читать не смогу. Пока не напишу из Москвы, – письма́, если бы написали, не посылайте. Всего огорчительнее было бы, если бы то, что пришло от Вас, залегло и сообщилось моей жизни (*даренье* большой *нравственной* и облагораживающей силы), в отдаленном моем выраженьи показалось чудны́м, смешным или непонятным Вам. А мне кажется, что судьба сводит нас *так* для того, чтобы кругом нас и рядом с нами не было искажений, обманчивости, измен. До свиданья. – Спасибо за Эккермана.

Ваш Б.П.

Письмо 15
<кон. марта 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Я терпелива, и свидания буду ждать, как смерти. / Я <в> Вас знаю только Вашу душу. / Умею любить Вселенную в розницу: *позвездно* и погнездно, но это величайший соблазн, – раз в жизни: оптом, в собирательном стекле – чего? – ну глаз. (Как всю Музыку в мире в одной органной ноте голоса.) Нужно быть терпеливым, великодушным, пожалуй старым, старше возраста. Только старик (тот, кому ничего не нужно) умеет взять, принять *всё*, т. е. дать другому возможность *быть*. Открещиваться и принимать вздох (выдох!) за вексель – дело наглой и подозрительной молодости. / Последняя реплика – «При чем тут я?!» («Не по адресу»). А здесь, волей-неволей, приходится говорить о поэте. Миллиард за жизнь прочитанных книг. – Так? – И очень много написанных. Откуда же *чудо* первичного волнения? Почему *это* ударило, а не соседнее. У каждого поэта только один читатель, и Ваш читатель – я. Теперь, внимание: я же не слепая и не глухая. Ваше признание меня (поэта) до меня доходит, я же не открещиваюсь: Вы поэт, Вы видите *будущее*. Хвалу сегодняшнему *дню* я отношу за счет завтрашнего, я спокойно принимаю, раз Вы верите – это будет (следовательно *есть*!). Вы видите землю насквозь, Вы видите цветок в семени. Никогда не расцветающий здесь, *здесь* прорастание в земле <вариант: сквозь землю>, цвет – завтра и *там*.

Ничья хвала и ничье признание мне не нужно, кроме Вашего, руку на сердце положа. – О не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т. е. не могут еще быть *только* чувствами. Когда я окончательно поверю в Вас, я перестану Вам писать.

* * *

Я очень спокойна. Никакой лихорадки. Я блаженно провожу свои дни. Это в первый раз за жизнь не наваждение, – а <пропуск одного слова> не чара, а знание. Не рассмотрите в этом превышения прав, раз, – упокоения в себе, два. Кроме Элизиума, есть еще земной милый сад с тростинками, с хворостинками, с шерстинками птиц и зайцев, – лбом в Элизиум, ногами на земле. Поэтому покойно, упокоено только мое главенствующее. А ногам – для того чтобы прямо идти – нужна рука – протянутая навстречу. – Хочу Ваших писем. —

Письмо 16
<кон. марта 1923 г.>
Цветаева – Пастернаку

Не живя с <Вами>, я всю жизнь буду жить не с теми, но мне не важно с кем: кем. Живя <Вами>, я всю жизнь буду жить – ТЕМ!

* * *

Знаете, как это бывает. Предположим, Вы ставите вопрос, сгоряча – перв<ым> движ<е-нием> – нет, потом – глубже: да, потом еще глубже: нет, глубже глубокого: да… (Не четыре ступени – сорок!) И, конечное: *да*.

Так и с Вашим вопросом (ибо не утверждение, а вопрос, в утверждении – вопрос!) о сестре. (Уже сейчас не помню, что́ сгоряча, м.б. и *да*, важна смена!) Как с лестницы. Но в Вашем вопросе я не вглубь шла, а ввысь.

* * *

Воз<действие> одного на другого. Душа ищет знака, повел<евающего> *быть*, (скала – жезла Ааронова <вариант: Моисеева>).

* * *

Думаю, что из упорства никогда не скажу Вам того слова. Из упорства. Из суеверия. (Самого *пустого*, ибо вмещает *всё*, самого страшного!) Его можно произносить по пустя-кам, когда это заведомо – гипербола. Его можно дарить, как червонец – нищему. В больших случаях – тишина и осторожн<ость>. Не п.ч. Крёзу моего червонца мало, а п.ч. он его сам наперед взял.

Я ничего не могу Вам подарить, п.ч. это было бы взлом<ом> в Вашу же сокровищницу.

* * *

Еще: дарить: хотя бы душу! – *отделять*: душа часть меня, есть кость. Предпочитаю ничего Вам не дарить, не говорить – об этом.

* * *

Сегодня вечером, холодя себе весь левый сердечный бок промерзлой стеной весеннего вагона (сидела у окна), думала: этого жизнь мне не даст: Вас рядом. Даст чехов, немцев, студентов, гениев, еще кого-то, еще кого-то: – она мне не даст.

* * *

Ну, а в минуту смерти: *кто* встанет?

* * *

Думаю, (вне Вас и вне себя) в предсмертную секунду (последнюю до) – *та* рука, в секунду посмертную (первейшую, первую по) моя, *эта*.

По спокойствию и по безнадежности знаю: <оборвано>

* * *

– «Не ждите ни меня, ни моих писем»… Милый друг, я буду ждать *Ваших дел*, это же Ваше лучшее письмо ко мне: письмо к Миру!

* * *

– Ах, Вы и это слово писать задумыв<аетесь>? Для меня все слова малы с рождения, всегда. И за малейшее из них я так: из недр – благодарна. Я и не такие выслушивала молча, не отвечая на них, как не отвечают на вздох. Для меня они все малы, я ни одного не боюсь, другой у меня ни за одно не отвечает / я ни на одно не отвечаю.

* * *

Не бойтесь. Я не кредитор. Я и свои и чужие забываю, раньше, чем другой успеет забыть. Я не даю забывать – *другому*. (Т. е. эту роскошь оставляю за собой!)

* * *

Я дружбу ставлю выше любви: не я ставлю, стоит выше, просто: дружба стоит, любовь – влежку.

Horizontales und Wertikales Handwerk[12].

* * *

Всё в мире меня затрагивает больше, чем моя личная жизнь.

* * *

Сестра, это отсутствие страдания (не *ее*, от нее!). – Не будете. —

* * *

На моей горе растет можжевельник. Каждый раз, сходя, я о нем забываю, каждый раз, всходя, я его пугаюсь: человек! потом радуюсь: куст <вариант: Вы>. Задумываюсь о Вас и, когда прихожу в себя – его нет, позади, миновала. Я его еще ни разу близко не видела. Я думаю, что это Вы.

[12] Горизонтальное и вертикальное ремесло (*нем.*).

* * *

Можжевельник двуцветный: снизу голубой, сверху зеленый. В памяти моей он черный.

* * *

Нам с Вами важно условиться, договориться, и – сговорившись – держать. Ведь обычно проваливается, п.ч. *оба* ненадежны. Когда один надежен – уже надежда на удачу. А мы ведь надежны оба, Вы и я.

* * *

Со мной сумел (вместил и ограничил) только один, вдвое старше Вас. Вместил, ибо бездонен, ограничил – ибо женщин и этим всю женскую роль с меня *снял*. (Ограничил, т. е. освободил *от*.) Ту роль, которую я, с чисто мужской корректностью, все-таки почему-то играть себя считала обязанной.

* * *

Мой дом – лбы, а не сердца.

Письмо 17
24 августа 1923 г.
Цветаева – Пастернаку

Всё меня отшвыривает, Б.П., к Вам на грудь, к Вам – в грудь. Вас многие будут любить, и Вы будете знаменитым поэтом – дело не в том! Никогда и ни в ком Вы так не прозвучите, я читаю Ваши умыслы.

Письмо 18
<январь 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Пастернак, полгода прошло, – нет, уже 8 месяцев! – я не сдвинулась с места, так пройдут и еще полгода, и еще год – если еще помните! Срывалась и отрывалась – только для того, очевидно, чтобы больнее и явнее знать, что вне Вас мне ничего не найти и ничего не потерять. Вы, моя безнадежность, являетесь одновременно и всем моим будущим, т. е. надеждой. Наша встреча, как гора, сп<олзает> в море, я сначала приняла ее (в себе) за лавину. Нет, это надолго, на годы, увижусь или не увижусь. У меня глубокий покой. В этой встрече весь смысл моей жизни, думаю иногда – и Вашей. Просто: читаю Ваши книги и содрогаюсь от соответ<ствия>. Поэтому ни одна строка, написанная с тех пор, Вас не миновала, я пишу и дышу в Вас (как цель, место, *куда* пишешь). Я знаю, что когда мы встретимся, мы уже не расстанемся. Я vorfühlende[13]. Как это будет в *этих* мирах, не знаю, – как-нибудь! – это случится той силой горы.

Это не одержимость и не наваждение, я не зачарована, а если зачарована – то навек, так что и на *том* свете не проснусь, не очнусь. Если сон снится всю жизнь – какое нам дело, что это сон, ведь примета сна – преходящесть.

Я хочу говорить Вам просто и спокойно, – ведь 8 месяцев, под<умайте>, день за днем! Всякая лихорадка отпустит. Когда мне плохо, я думаю: Б.П., когда мне хорошо, я думаю Б.П., когда Музыка – Б.П., когда лист слетает на дорогу – Б.П., Вы мой спутник, моя цель и мой оплот, я не выхожу из Вас. Всё, и болевое, и <пропуск одного слова>, с удесятеренной силой отшвыривает меня к Вам на грудь, в грудь, я не могу выйти из Вас, даже когда <оборвано>

О внешней жизни. Я так пыталась любить другого, всей волей люб<ви>, но тщетно, из другого я рвалась, оглядывалась на Вас, заглядывалась на Вас (как на поезд заглядываются, долженствующий появиться из тумана). Я невиновна в том, что я <оборвано>, я всё делала, чтобы это прошло.

Так было, так есть, так будет.

* * *

Я не жду Ваших писем, отпуская Вас тогда, я отпускала Вас на два года, на все эти дни этих двух годов, на все часы. Мне эти годы, часы, дни нужно проспать. Сон – работа, сон – <пропуск одного слова>, любовь к др<угому>. Тревожиться и ждать Вас я начну, хотела сказать 31го апреля – нет, 30го марта 1925 г. Это – ставка моей жизни, так я это вижу.

Смешно *мне*, не отвечающей ни за час, загадывать на годы, но вот – полугодие уже есть. Так пройдут и ост<альные> три.

* * *

<Другими чернилами; вероятно, предварительный конспект этого письма:>

Не хочу сказать б<ольше>, чем есть, но: некое чувство обреченности друг на друга, просто: иначе не может быть. Вокруг меня огромные любовные вихри, Вы моя единственная неподвижность (во мне, все то – во вне, это во мне). О внешней жизни не расск<азываю>,

[13] *Здесь:* предчувствующая (*нем.*).

т. е. о жизни моей в днях, – много всего! все настоящее, но из каждых рук рвусь в Вас, оглядываюсь на Вас. Встреча с Вами – весь смысл моей жизни здесь на земле (есть и ин<ые> см<ыслы>). Зн<айте>, что то, что удерживает, заграждает мне Вас, так же велико, громадно, безнадежно – как Ваше. Мы во всем равны здесь <оборвано>

Письмо 19
<пер. пол. 1924 г.>
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина! Так странно Вам писать! Мне кажется, Вы знаете и видите все, мы никогда не начинали, мы никогда не перестанем. Живите долго, живите вечно, я только на это надеюсь теперь. Как объяснить Вам? Я мог бы простыми и строгими словами рассказать, что́ теперь со мною и как сложилась жизнь, как трудно тут. Всего бы лучше так и сделать. Но я не знаю, далось ли бы Вам то волненье, с каким бы я их сказал. Я писал бы Вам о своем житье-бытье, и чем подробнее и точнее на нем останавливался, тем чудне́е и жутче было бы Вам, что я с таким усердьем себя помню. А между тем, подробно и точно писал бы я о Вас, о Вас давнишней, о Вас отдаленной и далекой в будущем. Что Вы такое, Марина? Вы в ряду тех величайших вещей, которых можно не замечать, без угрозы обидеть их и их лишиться. Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная, с тем чтобы когда-нибудь и как-то (и кто скажет, как?) отправиться только и дышать им, как отправляются в горы или на море или зимой в деревню. Только раз пять или шесть, не больше, слышал я в жизни другую такую незаметность, водопад существованья, грохот невымышленного мира, частый, как несущаяся конница, град отвесного, во весь рост, чутья, предполаганья, испуга, восторга, поклоненья и утаиванья, – такие звуки знакомы окнам весенней ночью. О том, как услыхал я это в предпоследний раз, писал я в бытность мою поэтом. В следующий, в последний раз я это услышал из Верст и потом от Вас, изо всего, что от Вас шло и за что я никогда не благодарил во́время, как за отдаленное, всю ночь держащее тебя у окна, молодое, горделивое, немолчно играющее молчаньем, торжественно тихое одиночество далекого, далекого водопада. Зачем я пишу Вам глупости, они Вас за разметываемую красоту не вознаградят и вас не возвратят мне, если Ваше терпенье истощилось, если мое поведенье Вам в тягость и я Вас потерял. Я часто представлял себе, что было бы, будь Вы тут. Я боюсь говорить об этом, так ясно я все вижу, ничего не назвав. Но одним разочарованьем было бы в жизни у Вас больше, потому что до какой бы бледности и опущенности я ни дошел, войдя к Вам и оставшись при Вас, я бы их за собой не знал, за оглушающим грохотом полной подлинности, за счастьем, и наверное недоумевал бы и огорчался, когда Вы и другие глядели бы на меня трезвыми глазами. Потому что красить Вас и Вас дополнять нечем и не к чему. И как легко бы я стал ничтожеством (для Вас неловким). Есть устойчивый, бестрепетно сторожевой порядок, порядок Верст и расстояний, без которых некуда было бы удаляться далям, неоткуда катиться их гулу. Они умнее нас. Их разорять нельзя. Я заметил, что думая о Вас, всегда закрываю глаза. Я тогда вижу свой дом, жену, ребенка, всё вместе, себя, лучше сказать, то место среди них, куда я должен откуда-то вернуться и возвращаюсь. И вот, с закрытыми глазами продолжаю я видеть их в какой-то их радости, в подъеме, точно приток неведомо откуда-то взявшихся планов или надежд влился в них, или у них праздник, и они не знают, как его назвать, я же знаю (и может быть говорю им), и имя этому празднику – Вы. Ничем у меня из головы этого представленья не вышибить. Я уже раз Вам о нем говорил. Я верю в это чутье, слишком часто оно мне является и мое постоянное любованье Вами сопровождает. Я ему слепо доверяюсь, хотя ни понять, ни осмыслить его не в силах. Возможно, что это предчувствие какое-то, – безо всякой мистики, лишнего глубинничанья и литературы. В том, как я люблю Вас, то́, что жена моей любви к Вам не любит, есть знак неслучайный и себе подчиняющий, – о если бы Вы это поняли! Что он может значить? А Бог его знает. У него может быть только два значенья. Либо нам не суждено свидеться (ну скажем, меня вдруг завтра не станет, и тогда к чему было бы понапрасну их огорчать или отчуждать). Либо же

суждено нам, и в это я верю, встретиться вне всякой неправды, как бы непонятно и несбыточно это ни казалось. Я ловлю себя на том, что говорю уже не с Вами, а о Вас с самим собой или с двойником моей Жени. Это ведь неуклюже и не касается Вас, и Вам скучно, наверное, родной, родной мой воздух, насильно с воли втянутый в комнату к посторонним! Сегодня ровно год, как я сдерживаюсь, таюсь и для Вас не существую. Дань неправде ведь и эта нарочитая нищета. Мне хочется писать Вам. Я буду писать про всякую всячину, без иронии, я буду обо всем пробалтываться Вам. Это будут (если пойдут) – ровные, почти неподвижные письма. Сразу же, как только я обращаюсь к Вам, Марина, меня подымает до самого предела преданности, и этот уровень длится ровно, без спаданий, головокружительно.

Ваш Б.П.

<На полях:>

Ищите случая, как с Синезубовым, рассказывайте о себе, передавайте все что можно, стихи же посылайте полностью, все, все, что напишете, одна Вы еще поэт под этим нашим небом.

Мой адрес: Волхонка 14 кв. 9. Прощайте.

Письмо 20
Цветаева – Пастернаку

Провода

– Борису Пастернаку. —

«И – мимо! Вы поздно поймете…»
Б.П.

1

Вереницею певчих свай,
Подпирающих Эмпиреи,
Посылаю тебе свой пай
Праха дольнего.
– По аллее
Вздохов – проволокой к столбу
Телеграфное: «лю – ю – блю…

Умоляю…» (печатный бланк
Не вместит! Проводами проще!
Это – сваи, на них Атлант
Опустил скаковую площадь
Небожителей…
Вдоль свай
Телеграфное: про – о – щай…

– Слышишь? Это последний срыв
Глотки сорванной: про – о – стите…
Это – снасти над морем нив,
Атлантический путь тихий:

Выше, выше – и сли – лись
В Ариаднино: ве – ер – нись,

Обернись!.. Даровых больниц
Заунывное: не́ выйду!
Это – про́водами стальных
Проводо́в – голоса Аида

Удаляющиеся… Даль
Заклинающее: жа – аль…

Пожалейте! (В сем хоре – сей

Различаешь?) В предсмертном крике
Упирающихся страстей —
Дуновение Эвридики:

Через на́сыпи и́ рвы́
Эвридикино: у – у – вы,

Не у —

17 марта 1923

2

Чтоб высказать тебе… да нет, в ряды
И в рифмы сдавленные… Сердце – шире!
Боюсь, что мало для такой беды
Всего Расина и всего Шекспира.

«…Все плакали, и если кровь болит…
Все плакали, и если в розах – змеи…»
Но был один – у Федры – Ипполит!
Плач Ариадны – об одном Тезее!

– Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счете сбившись,
Что я в тебе утрачиваю всех
Когда-либо и где-либо *небывших*!

Какие чаянья, когда насквозь
Тобой пропитанный – весь воздух свыкся?
Раз Наксосом мне – собственная кость!
Раз собственная кровь под кожей – Стиксом!

Тщета! во мне она! везде! закрыв
Глаза: без дна она! без дня! И дата
Лжет календарная…
Как ты – Разрыв,
Не Ариадна я и не…
– Утрата!

О по каким морям и городам
Тебя искать? (незримого – незрячей!)
Я про́воды вверяю провода́м,
И в телеграфный столб упершись – плачу.

18 марта 1923 г.

3
(Возможности)

Все перебрав – и все отбросив,
(В особенности – семафор!)
Дичайшей из разноголосиц
Школ, оттепелей… (целый хор

На помощь!) Рукава как стяги
Выбрасывая…
– Без стыда! —
Гудят моей высокой тяги
Лирические провода.

Столб телеграфный! Можно ль кратче
Избрать? Доколе небо есть —
Дружб непреложный передатчик,
Уст осязаемая весть…

Знай! что доколе свод небесный,
Доколе зори к рубежу —
Столь явственно и повсеместно
И длительно тебя вяжу.

Чрез лихолетие эпохи,
Лжей насыпи – из снасти в снасть —
Мои неизданные вздохи,
Моя неистовая страсть…

Вне телеграмм (простых и срочных
Штампованностей постоянств!)
Весною стоков водосточных
И проволокою пространств.

19 марта 1923 г.

4

Самовластная слобода!
Телеграфные провода!

Вожделений моих выспренных,
Крик – из чрева и на́ ветр!
Это сердце мое, искрою
Магнетической – рвет метр.

– «Метр и меру?» Но чет – вертое

Измерение мстит! – Мчись
Над метри́ческими́ мертвыми —
Лжесвидетельствами – свист!

Тсс… А ежели вдруг (всюду же
Провода и столбы!) лоб
Заломивши поймешь: трудные
Словеса сии – лишь вопль

Соловьиный, с пути сбившийся
– Без любимого мир пуст! —
В Лиру рук твоих влю – бившийся,
И в Леилу твоих уст!

20 марта 1923 г.

Эвридика – Орфею:

Для тех, отженивших последние клочья
Покрова (ни уст, ни ланит!..)
– О, не превышение ли полномочий,
Орфей, твоя оступь в Аид?

Для тех, отрешивших последние звенья
Земного… На ложе из лож
Сложившим великую ложь лицезренья,
Внутрь зрящим – свидание нож.

Уплочено же – всеми розами крови
За этот просторный покрой
Бессмертья…
До самых летейских верховий
Любивший – мне нужен покой

Беспамятности… Ибо в призрачном доме
Сем – призрак *ты́*, сущий, а явь —
Я, мертвая… Что же скажу тебе, кроме:
– Ты это забудь и оставь!

Ведь не растревожишь же! Не повлекуся!
Ни рук ведь! Ни уст, чтоб припасть
Устами! – С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть.

Уплочено же – вспомяни мои крики! —
За этот последний простор.
Не надо Орфею сходить к Эвридике
И братьям тревожить сестер.

23 марта 1923 г.

Не чернокнижница! В белой книге
Далей денных – навострила взгляд!
Где бы ты ни был – тебя настигну,
Выстрадаю – и верну назад.

Ибо с гордыни своей, как с кедра,
Мир озираю: плывут суда,
Зарева рыщут… Морские недра
Выворочу – и верну со дна!
Перестрадай же меня! Я всюду:
Зори и руды я, хлеб и вздох,
Есмь я и буду я, и добуду
Губы – как душу добудет Бог:

Через дыхание – в час твой хриплый,
Через архангельского суда
Изгороди! – Все уста о шипья
Выкровяню – и верну с одра!

Сдайся! Ведь это совсем не сказка!
– Сдайся! – Стрела, описавши круг…
– Сдайся! – Еще ни один не спасся
От настигающего без рук:

Через дыхание… (Перси взмыли,
Веки не видят, вкруг уст – слюда…)
Как прозорливица – Са́муи́ла
Выморочу – и вернусь одна:

Ибо другая с тобой, и в судный
День не тягаются…
Вьюсь и длюсь,
Есмь я и буду я, и добуду
Душу – как губы добудет уст —

Упокоительница…

25 марта 1923 г.

Час, когда вверху цари
И дары друг к другу едут.
(Час, когда иду с горы:)
Горы начинают ведать.

Умыслы сгрудились в круг,
Судьбы сдвинулись: не выдать!

(Час, когда не вижу рук.)

Души начинают видеть.

25 марта 1923

В час, когда мой милый брат
Миновал последний вяз
(Взмахов, выстроенных в ряд)
Были слёзы – больше глаз.

В час, когда мой милый друг
Огибал последний мыс
(Вздохов мысленных: вернись!),
Были взмахи – больше рук.

Точно руки – вслед – от плеч,
Точно губы вслед – заклясть.
Звуки растеряла речь,
Пальцы растеряла пясть.

В час, когда мой милый гость…
– Господи, взгляни на нас! —
Были слёзы больше глаз
Человеческих и звёзд

Атлантических…

26 марта 1923 г.

Терпеливо, как щебень бьют,
Терпеливо, как смерти ждут,
Терпеливо, как вести зреют,
Терпеливо, как месть лелеют —

Буду ждать тебя (пальцы в жгут —
Так Монархини ждет наложник)
Терпеливо, как рифмы ждут,
Терпеливо, как руки гложут.

Буду ждать тебя (в землю – взгляд,
Зубы – в губы! столбняк! булыжник!)
Терпеливо, как негу длят,
Терпеливо, как бисер нижут.
Скрип полозьев, ответный скрип
Двери: рокот ветров таёжных.
Высочайший пришел рескрипт:
– Смена царства и въезд вельможе.

И домой:
В неземной —
Да мой.

27 марта 1923 г.

Весна наводит сон. Уснем.
Хоть врозь, а всё ж сдается: все
Разрозненности сводит сон.
Авось увидимся во сне.

Всевидящий, он знает, чью
Ладонь – и в чью, кого – и с кем.
Кому печаль мою вручу,
Кому печаль мою повем

Предвечную (дитя, отца
Не знающее и конца
Не чающее!) О, печаль
Плачущих – без плеча!

О том, что памятью с перста
Спадет, и камешком с моста…
О том, что заняты места,
О том, что наняты сердца

Служить – безвыездно – навек,
И жить – пожизненно – без нег!
О заживо – чуть встав! чем свет —
В архив, в Элизиум калек!

О том, что тише ты и я
Травы, руды, беды, воды…
О том, что выстрочит швея:
Рабы – рабы – рабы – рабы.

5 апреля 1923 г.

С другими – в розовые груды
Грудей… В гадательные дроби
Недель…
А я тебе пребуду
Сокровищницею подобий.

По случаю – в песках, на щебнях
Подобранных, – в ветрах, на шпалах
Подслушанных… Вдоль всех бесхлебных
Застав, где молодость шаталась.

Шаль, узнаешь ее? Простудой
Запахнутую, жарче ада
Распахнутую…
Знай, что чудо
Недр – под полой, живое чадо:

Песнь! С этим первенцем, что пуще
Всех первенцев и всех Рахилей…
– Недр достовернейшую гущу
Я мнимостями пересилю!

11 апреля 1923 г.

Ариадна

1
Оставленной быть – это втравленной быть
В грудь – синяя татуировка матросов!
Оставленной быть – это явленной быть
Семи океанам… Не валом ли быть
Девятым, что с палубы сносит?

Уступленной быть – это купленной быть
Задорого: ночи и ночи и ночи
Умоисступленья! О, в трубы трубить —
Уступленной быть! – Это длиться и слыть
Как губы и трубы пророчеств.

2
(Антифон:)
– О всеми голосами раковин
Ты пел ей…
– Травкой каждою.
– Она томилась лаской Вакховой.
– Летейских маков жаждала…

(Но как бы те моря ни солоны —
Тот мчался.
– Стены падали…)
– И кудри вырывала полными
Горстями…
– В пену падали…

21 апреля 1923 г.

Несколько слов:

1

Ты обо мне не думай никогда!
(На – вязчива!)
Ты обо мне подумай: провода:
Даль – длящие…

Ты на меня не жалуйся, что жаль…
Всех слаще, мол…
Лишь об одном, пожалуйста: педаль:
Боль – длящая.

2

(Диалог:)
Ла́ – до́нь в ладо́нь:
– За – чем рожден?
– Не – жаль: изволь:
Длить – даль – и боль.

3

Проводами продленная даль…
Даль и боль, это та же ладонь
Отрывающаяся – доколь?
Даль и боль, это та же юдоль…

23 апреля 1923 г.

Сестра

Мало ада и мало рая:
За тебя уже умирают.

Вслед за братом, увы, в костер —
Разве принято? – Не сестер
Это место, а страсти рдяной!
Разве принято под курганом —
С братом?..
– «Был мой и есть! Пусть сгнил!»
– Это местничество могил!!!

11 мая 1923 г.

Сивилла – младенцу:

К груди моей,
Младенец, льни:
Рождение – паденье в дни.

С заоблачных, отвесных скал,
Младенец мой, —
Как низко пал!
Ты духом был, ты прахом стал.

Плачь, маленький, о них и нас:
Рождение – паденье в час!

Плачь, маленький, и впредь, и вновь:
Рождение – паденье в кровь,

И в прах,
И в час…

Где зарева его чудес?
Плачь, маленький: рожденье в вес.

Где залежи его щедрот?
Плачь, маленький: рожденье в счет,

И в кровь,
И в пот…

(намеренно обрываю)

17 мая 1923 г.

Диалог Гамлета с совестью

– На дне она, где ил
И водоросли… Спать в них
Ушла, – но сна и там нет!
– Но я ее любил,
Как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
– Гамлет!

На дне она, где ил:
Ил! – И последний венчик
Всплыл на приречных бревнах…
– Но я ее любил
Как сорок тысяч…
– Меньше,
Всё ж, чем один любовник.

На дне она, где ил.
– Но я ее —
(недоуменно:)

– любил??

5 июня 1923 г.

Расщелина

Чем окончился этот случай,
Не узнать ни любви, ни дружбе.
С каждым днем отвечаешь глуше,
С каждым днем пропадаешь глубже.

Так, ничем уже не волнуем,
Ни единой струной не зыблясь —
Как в расщелину ледяную,
В грудь, что *та́к* о тебя расшиблась!

Из сокровищницы подобий
Вот тебе – наугад – гаданье:
Ты во мне как в хрустальном гробе
Спишь, – во мне как в глубокой ране

Спишь, – тесна ледяная прорезь!
Льды к своим мертвецам ревнивы:
Перстень – панцырь – печать – и пояс:
Без возврата и без отзы́ва…

Зря Елену клянете, вдовы!
Не Елениной красной Трои
Дым! – Расщелины ледниковой
Синь, на дне опочиешь коей…

Сочетавшись с тобой, как Этна
С Эмпедоклом… Усни, сновидец!
А домашним скажи, что тщетно:
Грудь своих мертвецов не выдаст.

17 июня 1923 г.

Занавес

Водопадами занавеса как пеной
– Хвоей – пламенем прошумя.
Нету тайны у занавеса – от сцены:
(Сцена – ты, занавес – я).

Сновиденными зарослями (в высоком
Зале – оторопь разлилась)
Я скрываю героя в борьбе с Роком,

Место действия – и – час.

Водопадными радугами, обвалом
Лавра (вверился же! знал!)
Я тебя загораживаю от зала,
(Завораживаю – зал!)

Тайна занавеса! Сновиденным лесом
Сонных сна́добий, трав, зерн…
(За уже содрогающейся завесой
Ход трагедии – как шторм.)

Из последнего шелка тебя, о недра,
Загораживаю. – Взрыв! —
Над ужа́—ленною́ Федрой
Взвился занавес, как гриф.

На́те! Рвите! Глядите! Течет, не так ли?
Заготавливайте́ чан!
Я державную рану отдам до капли!
(Зритель бел, занавес рдян).

И тогда, благодетельным покрывалом
Долу, знаменем прошумя.
Нету тайны у занавеса – от зала.
(Зала – жизнь, занавес – я).

23 июня 1923 г.

Письмо

Строительница струн – пристpуню
И эту. Обожди
Отчаиваться! (В сем июне
Ты́ плачешь, ты – дожди!)

И если гром у нас – на крышах,
Дождь – в доме, ливень – сплошь —
Так это ты письмо мне пишешь,
Которого не шлешь.

Ты́ дробью голосов ручьёвых
Мозг бороздишь, как стих.
(Вместительнейший из почтовых
Ящиков – не вместит!)

Ты́, лбом обозревая дали,
Вдруг по хлебам – как цеп

Серебряный… (Прервать нельзя ли?
Дитя! Загубишь хлеб!)

(Не окончено)

Сахара

Красавцы, не ездите!
Песками глуша,
Пропавшего без вести
Не скажет душа.

Напрасные поиски,
Красавцы, не лгу!
Пропавший покоится
В надёжном гробу.

Стихами, как странами
Чудес и огня,
Стихами – как странами
Он въехал в меня:

Сухую, песчаную,
Без дна и без дня.
Стихами – как странами
Он канул в меня.

Внимайте без зависти
Сей повести душ.
В глазные оазисы —
Песчаная сушь…

Адамова яблока
Взывающий вздрог…
– Взяла его на́глухо,
Как страсть и как Бог.

Без имени – канувший!
Не сыщете – взят.
Пустыни беспамятны, —
В них тысячи спят!

Стиханье до кипени
Вскипающих волн…
Песками засыпанный,
Сахара – твой холм.

3 июля 1923 г.

Брат

Раскалена как смоль:
Дважды не вынести!
Брат, но с какой-то столь
Странною примесью

Смуты… (Откуда звук
Ветки откромсанной?)
Брат, заходящий вдруг —
Сто́лькими солнцами!

Брат без других сестер:
На́-прочь присвоенный!
По гробовой костер —
Брат, но с условием:
Вместе и в рай и в ад!
Раной – как розаном
Соупиваться! (Брат,
Адом дарованный!)

Брат! Оглянись в века:
Не было крепче той
Спайки! Шумит река…
Снова прошепчется

Где-то, меж звезд и скал,
– Настежь, без третьего! —
Что́ по ночам шептал
Цезарь – Лукреции.

12bis июля 1923 г.

Клинок

Между нами – клинок двуострый
Присягнувши – и в мыслях класть…
Но бывают – страстные сестры!
Но бывает – братская страсть!

Но бывает такая примесь
Прерий в ветре и бездны в губ
Дуновении… Меч, храни нас
От бессмертных душ наших двух!

Меч, терзай нас и меч, пронзай нас,
Меч, казни нас, но, меч, знай,

Что бывает такая крайность
Правды, крыши такой край…

Двусторонний клинок рознит?
Он же – сводит! Прорвав плащ,
Так своди же нас, страж грозный,
Рана в рану и хрящ в хрящ!
(Слушай! если звезда, срываясь…
Не по воле дитя с ладьи
В море падает… Острова есть,
Острова для любой любви…)

Двусторонний клинок, синим
Ливший, красным пойдет… Меч
Двусторонний – в себя вдвинем!
Это будет – лучшее лечь!

Это будет – братская рана!
Так, под звездами, и ни в чем
Не повинные… Точно два мы
Брата, спаянные мечом!

18 августа 1923 г.

Марина Цветаева

Дружочек, устала. Остальные дошлю. Итак, адр<ес> мой (стихов, м.б., не потеряете?) Прага Praha Smichov, Švedska ul., č. 1373 (не пугайтесь №, здесь все такие длинные). Из стихов посылала только те, что непосредственно к Вам, в упор. Иначе пришлось бы переписыв<ать> всю книгу!

Последние три стиха – для очистки совести – чтобы завтра *сызнова* начать:

Магдалина

Меж нами – десять заповедей:
Жар десяти костров.
Родная кровь отшатывает:
Ты мне – чужая кровь.

Во времена евангельские
Была б одной из тех…
(Чужая кровь – желаннейшая
И чу́ждейшая из всех!)

К тебе б со всеми немощами
Влеклась, стлалась – светла
Масть! – очесами демонскими
Таясь, лила б масла́ —

И на ноги бы, и под ноги бы,
И вовсе бы так, в пески…
Страсть, по купцам распроданная,
Расплёванная, – теки!

Пеною уст, и накипями
Очес, и по́том – всех
Нег… В волоса заматываю
Ноги твои, как в мех:

Некою тканью под ноги
Стелюсь… Не тот ли (– та! —)
Твари с кудрями огненными
Молвивший: встань, сестра!

26 авг<уста> 1923 г.

Побег

Под занавесом дождя
От глаз равнодушных кроясь,
– О завтра мое! – тебя
Выглядываю – как поезд

Выглядывает бомбист
С еще-сотрясеньем взрыва
В ушах… (Не одних убийств
Бежим, зарываясь в гриву

Дождя!)
– Не расправы страх,
Не… – Но облака! но звоны!
То Завтра на всех парах
Проносится вдоль перрона

Пропавшего… Бог! Благой!
Бог! И в дымовую опушь —
Как о́б стену… (Под ногой
Подножка – или ни ног уж,

Ни рук?) Верстовая снасть
Столба… Фонари из бреда…
– О, нет, не любовь, не страсть,
Ты – поезд, которым еду

В Бессмертье…

Прага, 14 октября 1923 г.

Брожу – не дом же плотничать,
Расположась на росстани!
Так, вопреки полотнищам
Пространств, треклятым простыням

Разлук, с минутным баловнем
Крадясь ночными тайнами,
Тебя под всеми ржавыми
Фонарными кронштейнами —

Краем плаща… За стойками —
Краем стекла… (Хоть краешком
Стекла!) Мертвец настойчивый,
В очах – зачем качаешься?

По набережным – клятв озноб,
По за́городам – рифм обвал.
Сжимают ли – «я б жарче сгреб»,
Внимают ли – «я б чище внял».

Всё ты один: во всех местах,
Во всех мастях, на всех мостах.
Так неживые дети мстят:
Разбейся, льстят, развейся, льстят.

…Такая власть над сбивчивым
Числом – у лиры любящей,
Что на тебя, небывший мой,
Оглядываюсь – в будущее!

16 октября 1923 г.

Письмо 21
<май 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Когда я думаю *во времени*, все исчез<ает>, все сразу невозможно, магия *срока*. А так – где-то (без *где*), когда-то (без *когда*) – о, все будет, сбудется.

* * *

Терпение. Не томлюсь, не жду.

Письмо 22
<май 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Высшая нереальность <вариант: ирреальность>.

* * *

Вы единственный, за кого бы я умерла без велик<ого> сознания *жертвы*, чью жизнь предпочла бы своей не как мне ценнейшую, а ценнейшую *моей* <вариант: своей>.

Письмо 23
14 июня 1924 г.
Пастернак – Цветаевой

Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина. Отчего не у Вас еще эти имена с рассказом об оставшихся, дышащих тем же, что и они! Как они ненавидят бумагу! Стоит одному из них, точно по недосмотру рассвета, слететь и лечь на страницу, как тотчас же просыпается страшная сволочь, – письмо. Оно ничего не видит и не знает, у него свое возбужденье, оно сыплет *своими* запятыми. Только отвернулся, глядишь, а уж оно и любит, любит – а я не хочу чтобы письма любили Вас. Вы не поверите, сколько я их написал и уничтожил! Их было больше десятка. Но это, последнее, я отошлю и в том случае, если засамовольничает и оно. Пока же это еще мой голос. – За что я ненавижу их? Ах, Марина, они невнимательны к главному. Того, что *утомляет*, утомительной *долготы* любованья, поляризации чувств они не передают. А это самое поразительное. Сквозь обиход пропускается ток, словно как сквозь воду. И все поляризуется. На улице, смеясь, разговариваешь со знакомыми. Вдруг содрогаешься, такою отталкивающей силой ни с того ни с сего наделяются их слова. И вдруг чувствуешь, что это действуют не они, что они поляризованы, что их перевели в этот полюс. *Они – не она*, вот в чем вся их сила. И какая! И когда сжимается сердце, – о эта *сжатость* сердца, Марина! Какой удивительный след неземного прикосновенья в этом ощущеньи! И насколько *наша* <подчеркнуто трижды> она, эта сжатость, – ведь она насквозь *стилистическая*. Как мы ее понимаем! Это – электричество, как *основной стиль* вселенной, стиль творенья на минуту проносится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну, зарядить Богом, ассимилировать, *уподобить*. И вот она, заряженная им с самого рождения, и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (таланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции, перебиваемая реторическим треском самостоятельных маховых движений (*неутомляющих* мыслей, порывов, *любящих писем*, вторичных поз), вот она заряжается вновь, насвежо, и опять мир превращается в поляризованную баню, где на одном конце – питающий приток безразлично многочисленных времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминаний и полаганий, – на другом – *бесконечно малая*, как оттиск пальца в сердце, когда оно покалывает, щемящая прелесть *искры, ушедшей в воду* и фасцинирующей ее со дна. Ее волненье удивительно своей неуловимостью. Оно производит работу, перед которой скаканье морских бурь смешно и ничтожно. При взгляде же на ее поверхность ничего не увидать, тихая, ровная гладь. Но она растворяет миры, как в детстве, она стаскивает их в себя, воспаляет вниманьем, разлагает, проясняет. Она подчиняет сердечной сжатости все разнесенное и раздутое человечеством, смывает слова, слои посредственные, искажающие. Она впитывает только чистую природу и, проволакивая по своему дну все воспринятое, относит восстановленное вещество к точке своего поклоненья. Вот этих неподвижных бурь письма не передают! О если бы по их страницам проволакивался хотя бы тот песок, который тащит по дну души это теченье. О как чудно было бы! Как много сказали бы Вам царапины, и борозды, и линии осадка. *Движенье* и *содержанье* чувства должны Вас интересовать. Что дива в одном его факте?

Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Но и вообще – Вы – возмутительно-большой поэт! Говоря о щемяще малой, неуловимо электризирующей прелести, об искре, о любви – я говорил об *этом*. Я *точно* это знаю. Но в одном

слове этого не выразить, выражать при помощи многих – мерзость. Вот скверное стихотворенье 1915 года из «Барьеров»:

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий
С белым пеплом баллад на челе,

С заскорузлой от музыки коркой
На *поденной* душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

О письмо, письмо, добалтывайся. Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, – Вы. О как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! Я жалею, что я о бане Вам писал, это не Вам надо было рассказывать. И все равно не изобразить прелести и утомительности труда, которым необходимо заработать Вас. Не как женщину, – не оскорбляйтесь, – это завоевывается именно маховым движеньем, слепо и невнимательно, точь-в-точь так, как любят письма, пылкостью и красноречьем минуты. <Одна строка зачеркнута.> Нет, иначе, и опять я чуть не начал рассказывать, как именно, и опять ни к чему. <Одна строка зачеркнута.> Вы видите, как я часто зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О как меня на подлинник тянет. Как хочется жизни с Вами. И прежде всего той его <так!> части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем. Пора, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, а стихи писать, наверное, разучился. Между прочим, я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, требуя продолженья. Часть Ваших стихов будет напечатана в журн<але> «Русский Современник». Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас (Вы этого человека не знаете, мальчик, воспитанник Брюсовского Института, исключенный за сословн<ое> происхожденье, знающий, философски образованный, один из «испорченных» мною). Они статьи не поняли и возвратили. Хочу писать и я статью. А Бобровскую в «Печати и Революции» получили? Вздорная, но сочувственная. А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со *знающей* силой, т. е. то, что мне ближе всего и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал. За то, что это встреча с таким же электрическим вниманьем, со способностью заряжаться, воспроизводить правду, уподобляться подлинному, сжиматься, как я их знаю по себе. И вот, тут я борюсь с письмом и воздерживаюсь от восклицаний. Это будет как возвращенье на ту далекую родину, где еще женились на сестрах, так еще редок, образцов и баснословен был человек. Потом эта даль затуманилась, когда же туман разорвался, их уже не существовало. Вы говорили о том же, назвав себя полубогом.

<На полях:>

И вот опять письмо ничего не говорит. А может быть даже оно Ваши стихи рассказывает своими словами? Какие они превосходные!

Постарайтесь с оказией прислать Психею и все, что издано у Вас после Ремесла. Очень нужно. Все присланное замечательно. Совершенно волшебен «Занавес». Спасибо.

Письмо 24
<июль 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Знаю о нашем равенстве. Но, для того, чтобы я его чувствовала, мне нужно Вас чувствовать – старше <вариант: больше> себя.

* * *

Наше равенство – равенство возмож<ностей>, равенство завтра. Вы и я – до сих пор – гладкий лист. Учит<ываю> при сем *всё*, что дали, и *именно* поэт<ому>.

* * *

Вы *всегда* со мной. Нет часа за эти 2 года, чтобы я внутренне не окликала Вас. Вами я *отыгрываюсь*. Моя защита, мое подтв<ерждение>, – ясно.

Через Вас в себе я начинаю понимать Бога в друг<ом>. Вездесущ<ие> и всемогущ<ество>.

* * *

Пока мальчика нет, думаю о нем. Вспомните старика Гёте в Wahlverwandschaften. Гёте *знал*.

* * *

Борис, а будет час, когда я Вам положу руки на плечи? (Бо́льшего не вижу.) Я помню Вас стоя и высок<им>. Я не в<ижу> иного жеста <кроме> рук на плеч<и>.

* * *

«Но если я умру, то кто же – мои стихи напишет?» (Опускаю ненужное *Вам*, ибо Вы сами – стихи —)

То, от чего так неум<ело>, так по-детски, по-женски страдала А<хмато>ва (опущ<енное> «Вам»), мною перешагнуто.

Мои стихи напишете – Вы.

5 го ию<ля>

Борис, Вы никогда не будете лучшим поэтом своей эпохи, по-настоящему лучшим, как например Блок. У Блока была тема – Россия, Петербург, цыгане, Прекрасная дама и т. д. *Остальное* (т. е. его, Блока, в чистом виде) принимали бесплатным приложением.

Вы, Борис, без темы, весь – чистый вид, с какого краю Вас любить, по какому поводу? Что за Вашими стихами встает? Нечто: Душа: Вы. Тема Ваша – Вы сам, которого Вы еще открываете, как Колумб – Америку, всегда неожиданно и не то, что думал, предполагал. Что здесь любить читателю?

Вас.

Любить *Вас* читатель не сог<ласится>. Будет *придир<аться>* к ритмике, etc., но за ритмику любить он не сможет. Вы, самый большой <поэт> Вашего времени, останетесь в стороне того огромного тока любви, идущего от миллионов к единственному.

Вы первый, дерзнувший без тем, осмелившийся на самого себя.

* * *

Борис, Вы, конечно, меня поймете и не подставите вместо себя Бальмонта. Бальмонт *весь в теме*: экз<отика>, женщ<ины>, красивость, крас<ота> – que sais-je![14] «Я» только повод к перечислению целого ряда предметов (Бальмонт).

«Все предметы только повод к я» – вот Блок.

Повод – без я (имажинисты).

Я – без повода (Пастернак).

* * *

Жел<ать> – жел<ать> большего себя. Иначе не стоит.

* * *

Вне фабулы.

Фабула: дети, присл<уга>, прост<о>. А дальше? Зрите<ли> <оборвано>

События в долине, на горах нет событий, на горах событие – небо (облака). Пастернак на горе.

* * *

Свою гору (уед<иненность>) Вы тащите с собой повсюду, разговаривая с з<накомыми> на улице и отшвыривая ногой апельсинную корку в сквэре – всё гора. Из-за этой горы Вас, Пастернак, не будут любить. Как Гёльдерлина и еще некоторых.

* * *

Как глубоко, серьезно и неспешно разворачивается моя любовь, как стойко, как – непохоже. Встреча через столько-то лет – как в эпосе.

8 го ночью

Стр<анно> созн<авать>: то, что должно было бы нас разъединить, еще больше скрепило.

Мне было больно от твоего сына (теперь могу это сказать, п.ч. тебе будет больно от моего!). Теперь мы равны. Со страхом жду твоего ответа, как отзовешься?

* * *

Недавно брала твою книгу в лес, лежала с ней.

[14] что я умею (знаю)! (*фр.*).

* * *

С гордостью думаю о твоем влиянии на меня, не влиянии, как давлении, о в – лиянии, как река вливается в реку.

И так как до сих пор на меня не влиял ни один поэт, думаю, что ты больше, чем поэт – стихия, Elementargeist[15], коим я так подвержена.

[15] стихийный дух (*нем.*).

Письмо 25
<осень 1924 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис, родной. Я не знаю, долетело ли до Вас мое письмо – давнишнее, в начале лета. Длительность молчания между нами равна только длительности отзвука, вернее: все перерывы заполнены отзвуком. Каждого Вашего последнего письма (всегда – последнего!) хватает ровно до следующего, при частой переписке получ<илось> бы нечто вроде сплошного сердечного перебоя. Сила удара равна его длительности, – есть ли в физике такой закон? Если нет, – есть.

Борис, если не долетело, повторю вкратце: в феврале я жду сына. Со мной из-за этого ребенка уже раздружились два моих друга, – из чистой мужской оскорбленности, негодования, точно я их обманула, – хотя ничего не обещала! А я, в полной невинности, с такой радостью сообщ<ала> им эту весть (оба меня любили, т. е. так думали) – и знаете чего ждала и не дождалась в ответ: «*Ваш* сын! Это должно быть чудо!» и еще… «но пусть он и внешне будет похож на Вас». Это я бы сказала *Вам*, Борис, п.ч. я Вас люблю, и этого ждала от них, п.ч. они меня любят, а дождалась – ну, <оборвано>

Теперь я совсем одна, но это не важно, всё, что не насущно – лишне, *двоих* не теряют, а *одного* не было, я ничего не потеряла, кроме – времени от времени – своего же волнения (сочувствия) в ответ на чужое.

Борис, мне противно повторять то́ свое письмо, тем более, что писала я в глубокой потрясенности, теперь свыклась – но там была формула, необходимо, чтобы она до Вас дошла: «единственное отчаяние мое, Борис, – Ваше имя». Я его Вам посвящаю, как древние посвящали своих детей божеств<у>, <оборвано>

Борис, с рождения моей второй дочери (родилась в 1917, умерла в 1920 г.) прошло 7 лет, это первый ребенок, который после этих семи лет – постучался. Борис, если Вы меня из-за него разлюбите, я не буду жалеть. Я поступила правильно, я не помешала *верстаку жизни* (совсем гётевское наблюдение и определение и даже форма, – только Гёте бы вместо *жизнь* сказал природа. О «Детстве Люверс» – потом), я не воткнула палки в спицы колеса судьбы. Это единственное, что я чту. Да, Борис, и будь этот ребенок у меня от первого прох<одимца>, он все-таки был бы, п. ч. он захотел *через меня быть*. Да, Борис.

Впрочем, Вы мудры и добры, – зачем всё это? Горечи моей Вы не сможете не прочесть уже с первой буквы февраля. Ни о радости, ни о горечи я говорить не буду, – <оборвано>

А если это будет дочка – значит, сын впереди.

Я назову его Борисом и этим втяну Вас в круг.

* * *

Борис, я закончила большую вещь – I часть трилогии «Тезей»: Ариадна. Приступаю ко второй. В «Современных Записках» (XXI кн.) есть моя проза, из советских записей, – достаньте и прочтите. Часть сказки «Мо́лодец» уже отпечатана, выйдет к Рождеству, пришлю. (Здесь очень неисправные типографии) <оборвано>

Письмо 26а
<ок. 14 февраля 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Дорогой Борис,

1го февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был 9 месяцев во мне и 10 дней на свете но желание С. (не треб<ованье>) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение. Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некая внутренняя неловкость: Вас, Любовь, вводить в семью: приручать дикого зверя – Любовь, обезвреживать барса (Барсик, так было – было бы! – уменьшительное). Ясно и просто: назови я его Борисом, я бы навеки простилась с Будущим: Вами, Борис, и сыном от Вас. Та́к, назвав этого Георгий, я сохр<аняю> права на Бориса, то есть на Вас и – Борюшка, это не безумие, я просто чутко слушаю себя, Вас и Будущее.

Георгий – моя дань долгу, преданности, доблести и Добровольчеству, это тоже я, не отрекаюсь. Но не *Ваша* я. Ваша я – в Борисе.

Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душою, как Вы – с туй карточкой, Вы мой воздух и мой вечерний возврат к себе. Иногда Вы во мне стихаете, когда *я* стихаю в себе. Но чуть стих или дуновение иных земель – Ваше имя, Ваше лицо, Ваш стих. Жила эту зиму «Детством Люверс», изумительной книгой. (Да, книга, несмотря на, кажется, 70 страниц.) Многое, по поводу нее, записала, м.б. *напишу*.

Если бы я умерла, я бы Ваши письма и книги взяла с собой в огонь (в Праге есть крематорий) – уже было завещано Але – чтобы вместе сгореть – как в скитах! Но – уцелела: чудом, всё произошло неожиданно, в деревне и почти без врачебной помощи. Третий день как встала. Мальчик хороший, с прелестными чертами, по всем отзывам и моему чутью – в меня. – Сколько писем за эту зиму! Не отослала ни одного, – все равно Вы их читали! Да все их, как всю себя, могу стисн<уть> в одно слово <оборвано>

Продолжение

Борюшка, я еще никогда никому из любимых не говорила ты, – разве в шутку, от неловкости и явности внезапных пустот – я вся на Вы, а вот с Вами, с тобой – это ты неудержимо рвется, мой *большой* брат!

Борис, я два года, я больше двух лет тебя люблю, – ты ведь не скажешь, что это воображение. Люблю, мне это иногда кажется пустым словом, заменим: хочу, жалею, восхищаюсь и т. д., замени, т. е. не существенно. Мне всегда хочется сказать: я тебя больше, лучше, чем люблю. Ты мне *насквозь* родной, такой же жутко, *страшно* родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)

Ни одна моя строка, ни одна моя тоска, ни один мой помысел не минут тебя. Читала Детство Люверс, как дневник. Наше царство – где и когда?

Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было?

Я приучила свою душу жить за окн<ами>, я на нее в окно всю жизнь глядела, – о только на нее! – не допуск<ала> ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом, но никогда дом – душой. Я в жизни своей отсутствую. Душа – в доме, душа – дома – для меня немыслимость, именно НЕ мыслю.

Борис, сделаем чудо.

* * *

Да, когда я думаю о своем смертном часе, я думаю: кого? чью руку? И – только твою! Я не хочу ни священника, ни поэтов (не сердись!), я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу покоя силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего обещ<ания> <вариант: слова>, Борис, на *ту́* жизнь.

* * *

Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это – *доля*. (Ты <оборвано>.) А есть: рок (гос) – утес. Доля же – дол. Ты мой вершинный брат, все остальное в моей жизни – аршинное.

* * *

«Игры слов и смыслов», – какую-нибудь книгу свою я так назову. *Восстановление* утраченного первичного смысла путем сопоставления якобы случайных созвучий. Восстановленный брак, союз, связь.

* * *

Борис, а ты помнишь Лилит? Борис, а не было кого-нибудь *до* Адама?

* * *

Твоя тоска по мне – тоска Адама по Лилит, до-первой и *не-числящейся*. (Отсюда моя *ненависть* к Еве!)

* * *

Жена Эренбурга рассказывала, как вы вместе ехали на вокзал (они уезжали, Вы провожали). «Был замечательный вечер». Борис, это ты со мной ехал на вокзал, меня провожал.

* * *

Только не на глаз<ах> встречу, только не на глазах!

* * *

Все стихи и вся музыка – обещания обетованной земли, которой здесь нет. Поэтому – безответственны и беспоследственны. Они *сами* – то!

Письмо 26б
14 февраля 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

<Вверху письма:>
Это не сантиментальность, а просто Анютин глазок.

Борис!

1го февраля, в воскресенье, в полдень родился мой сын Георгий. Борисом он был девять месяцев в моем чреве и десять дней на свете, но желание С. (не требование) было назвать его Георгием – и я уступила. И после этого – облегчение.

Знаете, какое чувство во мне работало? Смута, некая неловкость: Вас, Любовь, вводить в семью, приручать дикого зверя – любовь, обезвреживать барса (Барсик – так было – было бы! – уменьшительное). Ясно и просто: назови я его Борис, я бы навсегда простилась с Будущим: Вами, Борис, и сыном от Вас. Та́к, назвав этого Георгием, я сохранила права на Бориса. (Борис остался во мне.) – Вы бы ведь не могли назвать свою дочь Мариной? Чтобы все звали и знали? Сделать общим достоянием? Обезвредить, узаконить?

Борисом он был, пока никто этого не знал. Сказав, приревновала ко звуку.

* * *

Георгий – моя дань долгу, доблести и добровольчеству, моя *трагическая* добрая воля. Это тоже я, не отрекаюсь. Но не *Ваша* я. Ваша я (*я*) – в Борисе.

* * *

Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душой, как Вы – с то́й карточкой. Вы мой воздух и мой вечный возврат к себе (постель). Иногда Вы во мне стихаете: когда я стихаю в себе. Жила эту зиму «Детством Люверс», изумительной, небывалой, еще не бывшей книгой. Многое попутно записала, может быть напишу.

* * *

Если бы я умерла, я бы Ваши письма и книги взяла с собой в огонь (в Праге есть крематорий) – уже было завещано Але – чтобы вместе сгореть – как в скитах! Я бы очень легко могла умереть, Борис, – всё произошло так неожиданно: в последнем доме деревни, почти без врачебной помощи. Мальчик родился в глубоком обмороке – 20 минут откачивали. Если бы не воскресение, не С. дома (все дни в Праге), не знакомый студент-медик – тоже все дни в Праге – мальчик бы наверное погиб, а может быть и я.

В самую секунду его рождения – на полу, возле кровати загорелся спирт, и он предстал во взрыве синего пламени. А на улице бушевала мятель, Борис, снежный вихрь, с ног валило. Единственная мятель за зиму и именно в *его* час!

Мальчик хороший, с прелестными чертами, длинные узкие глаза, точеный носик, по всем отзывам и по моему чутью – весь в меня. А ресницы – золотые.

Мой сын – Sonntagskind[16], будет понимать речь зверей и птиц и открывать клады. Я себе его заказала.

Выписки из черновой тетради:

(до Георгия)

Борюшка, я еще никогда никому из любимых не говорила ты – разве в шутку, от неловкости и явности внезапных пустот, – заткнуть дыру. Я вся на Вы, а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвется, мой *большой* брат.

Ты мне *насквозь* родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)

* * *

Когда я думаю о жизни с Вами, Борис, я всегда спрашиваю себя: как бы это было?

Я приучила свою душу жить за окнами, я на нее в окно всю жизнь глядела – о, только на нее! – не допускала ее в дом, как не пускают, не берут в дом дворовую собаку или восхитительную птицу. Душу свою я сделала своим домом (maison roulante)[17], но никогда дом – душой. Я в жизни своей отсутствую, меня *нет* дома. Душа в доме, душа – дома для меня немыслимость, именно не мыслю. Stranger here[18].

Борис, сделаем чудо.

Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И – только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на *ту* жизнь.

* * *

Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это – *доля*. Ты же – воля моя, та́, пушкинская, взамен счастья (я вовсе не думаю, что была бы с тобой счастлива! Счастье? Pour la galerie и für den Pöbel![19])

Ты – мой вершинный брат, все остальное в моей жизни – аршинное.

* * *

«Игры слов и смыслов», – какую-нибудь книгу свою я так назову.

* * *

Борис, а ты помнишь Лилит? Борис, а не было ли кого-нибудь до Адама?

---

[16] воскресный ребенок (*нем.*).

[17] дом на колесах (*фр.*).

[18] Чужая здесь (*англ.*).

[19] Для галерки (*фр.*), для публики (*нем.*).

* * *

Твоя тоска по мне – тоска Адама по Лилит, *до* – первой и *не-числящейся*. (Отсюда моя ненависть к Еве!)

* * *

Жена Э<ренбур>га рассказывала, как вы вместе ехали на вокзал (они уезжали, Вы провожали). «Был замечательный вечер». Борис, это ты со мной ехал на вокзал, меня провожал.

Только не на глазах встречу, только не на глазах!

* * *

Все стихи и вся музыка – обещания обетованной земли, которой нет. Поэтому – безответственно и беспоследственно. Они *сами* – то!

* * *

Борис, а ты – верный. Ты слишком тяжел, чтобы постоянно перемещаться. Демона, любящего (или губящего) десять Тамар, я не мыслю. Думал ли ты когда-нибудь о смехотворной (жалкой) стороне Дон-Жуана? Любуясь им, я бы не могла любить его: мне было бы неловко, что после меня можно любить еще кого-нибудь.

* * *

Борис Пастернак, – это так же верно, как Монблан и Эльбрус: ведь они *не сдвинутся*! А Везувий, Борис, сдвигающий и не сдвигающийся! Всё можно понять через природу, всего человека, – даже тебя, даже меня.

* * *

Тогда – парнасцы, сейчас – везувийцы (*мое* слово). И первые из них: ты, я.

* * *

Это я случайно, Борис, из тетрадки для стихов, остальное развеялось и размылось. Ведь моя жизнь – неустанный разговор с тобой. Пишу тебе на листе из той же тетради, это самое мое собственное, вроде как на куске души. Чтобы ты лучше понял меня: у меня есть чудная бумага, целый блокнот, мужской, вроде пергамента, но писать тебе на бумаге, подаренной другим – двойная измена: обоим (ведь по отношению к нему *ты* – другой!) Есть вещи щемящие.

Измена – чудесное слово, вроде: разлука. Ножево́е, ножёвое. И только звук его знаю, смысл – нет. Изменить можно только государю, т. е. высшему, а как я ему изменю, когда оно во мне? В быту это *есть* – измена, сам быт – измена: души. Изменять с душой быту – ничего, кажется, другого в жизни не делала. Понимаете, иное деление, чем любовник и муж.

* * *

Я живу возле Праги, безвыездно и невылазно, никого не вижу, кроме Али и С. Много стихов. Скоро выходит моя книга, может быть получишь одновременно с письмами. Следующий – далекий – этап: Париж. С тобою бы хотела встретиться через год: 1го мая 1926 г. (а рука по привычке души пишет 25 г.!). Сейчас я совсем связана: мальчиком и новизной чувства к нему. А тогда ему будет больше года, я уже буду знать, что у меня за сын и наверно – что у меня сын.

Ты ведь можешь любить чужого ребенка, как своего? У меня всё чувство, что я умру, а вам вместе жить, точно он ровесник тебе, а не твоему сыну.

Борис, думай о мне и о нем, благослови его издалека. И не ревнуй, потому что это не дитя услады.

Посвящаю его тебе как божеству.

М.Ц.

Мой адр<ес>: Všenory, č. 23 (p. p. Dobřichovice) u Prahy – мне —. Чехо-Словакия.

Письмо 27
<20–22 марта 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Б.П., когда мы встретимся? Встретимся ли? Дай мне руку на весь тот свет, *здесь* мои обе – заняты!

* * *

Б.П., Вы посвящаете свои вещи чужим – Кузмину и другим, наверное. А *мне*, Борис, ни строки. Впрочем, это моя судьба: я всегда получала меньше, чем давала: от Блока – ни строки, от Ахматовой – телефонный звонок, который не дошел, и стороннюю весть, что всегда носит мои стихи при себе, в сумочке, – от Мандельштама – несколько холодных великолепий о Москве, от Чурилина – просто плохие стихи, от С.Я.Парнок – много и хорошие, но она сама – плохой поэт, а от Вас, Б.П., – ничего. Но *душу* Вашу я взяла, и Вы это знаете.

Письмо 28а
26 мая 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис! Каждое свое письмо к Вам я чувствую предсмертным, а каждое Ваше ко мне – последним. О, как я это знала, когда Вы уезжали.

Это письмо к Вам второе после рождения сына. Повторю вкратце: сын мой Георгий родился 1го февраля, в воскресенье, в полдень. В секунду его рождения взорвался стоявший рядом с постелью спирт, и он предстал *во взрыве*. (Достоин был бы быть Вашим сыном, Борис!) Георгий, а не Борис, потому что Борис – тайное, ставшее явным. Я это поняла в те первые 10 дней, когда он был Борисом. – Почему Борис? – «П.ч. Пастернак». – И так всем и каждому. И Вы выходили нечто вроде заочного крестного отца (православного!). Вы, которому я сына своего посвящаю как древние – божеству! «В честь», когда я бы за Вас – жизнь отдала! (Ваша сто́ит моей, а м.б. и больше!) Обо всем этом я Вам уже писала, если дошло, простите за повторение.

Георгий же в честь Москвы и несбывшейся победы, Вы меня поймете. Но Георгием все-таки не зову, а зову Мур – нечто от кота, Борис, и от Германии и немножко от Марины. На днях ему 4 месяца, говорит (совершенно явственно, с французским г: «heureux»[20]), улыбается и смеется. Белые ресницы и брови, синие чуть раскосые глаза, горбонос. Навостренные сторожкие ушки (слух!). Весь в меня. Вы его будете любить, и Вы должны о нем думать.

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». Я бы предложила такую формулу. Вокруг света и вокруг колыбели. Или же: вокруг света (тот моряк) и вокруг мира. Ибо человек – единственная достоверная вселенная – бесконечность. Единственное мое представление о бесконечности: звездное небо (на веру?) и Вы Борис (явь).

– Вот Вам мой «Мо́лодец», то, что я последнее писала перед Вашим отъездом. После него, из больших вещей: «Поэма горы», «Поэма конца», «Тезей» и, теперь, «Крысолов» (печатается в «Воле России» с *чудовищными* опечатками). Поэму горы посылаю, почитайте ее когда-нибудь, где-нибудь, чтобы меня не совсем забыли. Мой читатель, несомненно, в России, и, без самохвальства, задумчиво, мысль вслух: – «Россия». Но дуализм, властвующий над моей жизнью, вернее моя жизнь, не сливающаяся с моей душой, занес – занесла – занесли меня сюда, где стихов не читают. Но тут другое, – то, из чего возникают стихи, то, о чем поют.

* * *

Еще о мальчике: живу им. Чувств<ую>, что им – отыграюсь. В первый раз *присутствующему* говорю: *мой*.

Через год встретимся. Знаю это. Вообще, живу встречей с Вами.

* * *

А ты знаешь, Борис, откуда посвящение к Мо́лодцу? Из русской былины – Морской царь и Садко. Когда я прочла, я сразу почувствовала тебя и себя, а сами строки – настолько

[20] счастливый (*фр.*).

своими, что не сомневалась в их авторстве лет триста-пятьсот назад. Только ты никому не говори – про Садко, пускай ищут, свищут, я нарочно не проставила, пусть это будет наша тайна – твоя и моя.

* * *

А ты меня будешь любить *больше* моих стихов. (– Возможно? – Да.) *Народ* больше, чем Кольцов? Так во́т: мои стихи – это Кольцов, а я – народ. Народ, который никогда себя до конца не скажет, п.ч. конца нет, неиссякаем. Ведь только за это ты меня любишь – за Завтра, за за-пределом строк. Ох, Борис! Когда мы встретимся, это, правда, гора сойдутся с горой: Синай <вариант: Моисеева> с Зевесовой – (и взрыв будет —). О, я не даром (ведь не придумывала же!) не взяла Везувия и Этны, там взрывы *земного* огня, здесь – свыше: всё небо в двух, в одной молнии. Саваоф и Зевес. – Едино. – Ах!

* * *

Борис, а нам с тобой не жить. Не потому что ты – не потому что я – (любим, жалеем, связаны), а п.ч. ни ты, ни я и не хотим *жить*, п.ч. и ты и я: *из* жизни (как из жил!). Мы *только* встретимся. – Та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь. О, ты так дьявольски, так небесно-умен, что ведь не подставишь – просто-напросто – поцелуя. Я даже не знаю, буду ли я тебя целовать.

Есть сухой огонь (весь «Мо́лодец») – вообще, вчитайся, я тебя очень прошу. Сказку эту («Упырь») можешь найти в 5-томном издании Афанасьева (кажется, III том) – сделай мне радость, прочти.

* * *

Никогда не пишу тебе о быте, но чтобы ты все-таки знал, что я «живу»: живу в чешской деревеньке Вшеноры под Прагой, почти безвыездно вот уже второй год (всего в Чехии под Прагой – четвертый). Жизнь неприглядная, природа мелкая, людей почти никаких. Живу из себя и в себе. После советской каторги – поселение. Думаю, что следующий этап – Париж. В Париже же встретимся. Не в само́м – съедемся так, чтобы полдороги ты, полдороги я. (Ты ведь из Берлина поедешь?) – Лучше в Германии. – И, конечно, в Веймаре. Не хочется *никаких* людей, никакого сообщничества, чтобы всё естественно, само́, – как во сне. Этой встречей живу. Ты моя даль – обожаемая.

Письмо 28б
Прага, 26 мая 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис!

Каждое свое письмо к Вам я чувствую предсмертным, а каждое Ваше ко мне – последним. О, как я это знала, когда Вы уезжали.

Это письмо к Вам второе после рождения сына. Повторю вкратце: сын мой Георгий родился 1го февраля, в воскресенье, в полдень. В секунду его рождения взорвался разлитой возле постели спирт, и он был явлен *во взрыве*. (Достоин был бы быть Вашим сыном, Борис!) Георгий, а не Борис, потом что Борис – тайное, ставшее явным. Я это поняла в те первые 10 дней, когда он был Борисом. – Почему Борис? – П. ч. Пастернак. – И так всем и каждому. И Вы выходили чем-то вроде заочного крестного отца (православного!), Вы, к<ото>рому я сына своего посвящаю, как древние – божеству! «В честь» – когда я бы за Вас – жизнь отдала! (Ваша стоит моей. В первый раз.) Обо всем этом я Вам уже писала, если дошло, простите за повторение.

Георгий же в честь Москвы и несбывшейся Победы. Но Георгием все-таки не зову, зову Мур – от кота, Борис, и от Германии, и немножко от Марины. На днях ему 4 месяца, очень большой и крупный, говорит (совершенно явственно, с французским r: «heureux»), улыбается и смеется. Еще – воет, как филин. Белые ресницы и брови, синие, чуть раскосые (будут зеленые) глаза, горбонос. Навостренные сторожкие ушки демоненка или фавна (слух!). Весь в меня. Вы его будете любить, и Вы должны о нем думать. Ваш старше всего на два, нет, на 1 ½ года. Будут друзья. (Ваше имя он будет знать раньше, чем Ваш – мое!)

Вспоминаю Ваши слова об отцовстве в изумительных Ваших «Воздушных путях». Я бы предложила такую формулу: Вокруг света (моряк) и вокруг вселенной (отец). Ибо колыбель – единственная достоверная вселенная: несбывшийся, т. е. *беспредельный* человек. И единственное мое представление о бесконечности – Вы, Борис. Не из-за любви моей к Вам, любовь – из-за этого.

– Вот Вам мой «Мо́лодец», то, что я кончала, когда Вы уезжали. После него, из больших вещей: «Поэма Горы», «Поэма конца», «Тезей»… Ты всё это получишь.

А ты знаешь, откуда посвящение к «Мо́лодцу»? Из русской былины «Морской царь и Садко». Когда я прочла, я сразу почувствовала тебя и себя, а сами строки – настолько своими, что не сомневалась в их авторстве лет триста-пятьсот назад. Только ты никому не говори – про Садко, пускай ищут, свищут, я нарочно не проставила, пусть это будет наша тайна – твоя и моя.

А ты меня будешь любить *больше* моих стихов (– Возможно? – да). *Народ* больше, чем Кольцов? Так вот: мои стихи – это Кольцов, а я – народ. Народ, который никогда себя до конца не скажет, п.ч. конца нет, неиссякаем. Ведь только за это ты меня любишь – за Завтра, за за пределом стран. Ох, Борис! Когда мы встретимся, это, правда, гора сойдутся с горой: Моисеева – с Зевесовой. Не Везувий и Этна, там взрывы *земного* огня, здесь – свыше: всё небо в двух, в одной молнии. Саваоф и Зевес. – Едино. – Ах!

Борис, а нам с тобой не жить. Не потому, что ты – не потому, что я (любим, жалеем, связаны), а потому что и ты и я *из* жизни – как из жил! Мы только (!) встретимся. Та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь.

Есть сухой огонь (весь «Мо́лодец») вообще, вчитайся, я тебя очень прошу. Сказку эту («Упырь») можешь найти в 5-томном издании Афанасьева (кажется, III том), сделай мне радость, прочти.

А взрыв не значит поцелуй, взрыв – взгляд, то, что не длится. Я даже не знаю, буду ли я тебя целовать.

* * *

Напиши мне. До сентября я достоверно в Чехии. Потом, быть может, Париж. В Париже же встретимся. Не в самом – съедемся так, чтобы полдороги ты, полдороги я (Гора с горой). И, конечно, в Веймаре. Только напиши, когда.

Пишу в 6 ч<асов> утра, под птичий свист.

Марина

Адрес: Чехословакия: Všenory, č. 23 (p. p. Dobřichovice) u Prahy – мне —.

Письмо 29
25 июня 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Сейчас словила себя на том, что вслух, одна в комнате, сказала – «Все мои – там», как когда-то в Советской России о заграница. О, Борис, я всегда за границей, и там и здесь, мое здесь всегда изничтожается там (*тем* – Там!), но возвр<ащаясь> к возгласу, тому и этому: да, *мои* – подвига <вариант: солдата> во мне – мои! – были здесь, где я сейчас, а мои – поэта-меня – мои (а поэт – тоже солдат!) действительно там, где Вы сейчас. И проще: Россия, вся, с ее печен<егами>, самозванцами, гипсовыми памятниками в<ождям> вчерашнего дня и какими – из радия? – памятниками Будущего – Вы, Борис. Кроме Вас у меня в России нет дома: maison roulante – croulante[21] – Вы.

Я Вас чувствую *главой* поколения (на весь Вавилон выше!). Вы последний камень рушащегося Вавилона, и Ваше имя, Борис в м<оем> с<ознании> звуч<ит>, как угроза грома – рокотом – очень издалека. И не то крест<иться>, не то ставни закрыв<ать>. А я на этот гром – две<ри> на<стежь> – авось! (И мысль: неужели у него есть руки (не рука<ми> перо держ<ит> или руками, чтобы его не выхв<атили>) – чтобы держать перо и губы – чтобы сказать: Марина!)

О как я слышу это свое имя из Ваших уст! Как *глухо*, как на пороге губ и как потом (рот – как Красные ворота, это Аля сказала) рот как Красные ворота и мое имя, как торжественная колесница, (р – гром).

А еще – люб<лю> <*нрзбр*.>, вжавшись лбом в пле<чо> и в ладонь, помнишь, как в первом моем стихе к тебе в котором я сознательно говорила на твоем языке (тайном!).

* * *

Для меня дело в любви не в силе, а в умении. Сила, это пустынник и медведь. М.б. – умение в силе?

[21] дом на колесах – ветхий дом (*фр.*). По-французски – игра слов.

Письмо 30
2 июля 1925 г.
Пастернак – Цветаевой

Месяц тому назад я получил Ваше письмо, Марина. Бог знает как оно до меня добралось. Говорят, Вы мне ответили на мое прошлогоднее. Но то не дошло.

О Вашей радости я узнал раньше от Аси. Подробности рожденья мальчика действительно чудесны. Вы об этом пишете с заразительной таинственностью, полным шепота ртом. Когда я читал Ваше письмо, мне представилась детская ночью, где-то мыслилась маленькая кроватка, Вы над ней наклонялись и производили какие-то движенья над лампой. Свет заражался Вашей озабоченностью и повторял Ваши движенья.

Мне живется очень трудно, и бывают времена, когда я прихожу в совершенное отчаянье. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов.

Жена и ребенок в деревне, на даче. Теперь крестьяне стали строить большие светлые избы и сдают их на лето. Там очень хорошо. Я приехал в город доставать денег, и это мне не удается. За квартиру не плочено три месяца, а это по нашим законам предельный срок, после которого подают в суд и выселяют. Тем же самым грозит мне неплатеж налогов. Родители, сестры и брат за границей, квартира переуплотнена, я единственный тут остался. Нам остались две комнаты, но одна из них, по размерам, сущий манеж (старая папина мастерская), и получается площадь, которая поглощает половину моих заработков. Сократить ее нельзя, этому мешает расположенье и устройство печей. Переехать тоже невозможно, не только оттого, что некуда, а и потому еще, что тут папины работы за всю его жизнь и вещи семьи, и сдвинуть этот заколдованный массив мог бы только человек без мнительности и воображенья, решительный, здоровый и дневной. Все это со стороны должно быть смешно, и если Вы не улыбнетесь, мне будет стыдно Вашей снисходительности.

А кругом люди, как ни бедственно положенье многих, делают подарки женам, ходят не в отребьях и, принимая друзей, развлекаются и не отпугивают их унынием. Мне горько за своих, страшно себя и стыдно мысли, что в чем-то таком, что составляет существо живого человека, я глубоко бездарен и жалок.

Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что делать. Это очень унизительная процедура. Поведенье людей лишено логики. Чем выше балл, который они тебе выставляют, тем он мертвее. Всего меньше считают себя обязанными делать вывод из своего мнения те, по мненью которых я делю поэтическое первенство с Есениным. Манеры, способ обращенья и проч. у этих людей выработались из сношений с этим последним. Они привыкли к грубостям и запанибратщине, и к тому, чтобы на них действовали нахрапом. А мне это претит. Это я о житейской, матерьяльной стороне. Что же касается до существа этого сопоставленья, то нельзя ничего придумать пошлее. Не говоря уже о Маяковском, о живых еще, по счастью, Сологубе и Ахматовой, я Мандельштама и Асеева ставлю выше как поэтов. Но не в этом дело. Я был бы рад делить поэтический уровень только с Вами. Только в этом наблюденьи была бы какая-то правда, объективная, живая, моментальная, без первенств и порядковых чисел. Первым был Брюсов. Это не по нашей части. Анненский не был первым. О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать! Как трудно, как трудно!

Я долгое время (около 6-ти лет) совершенно не мог писать. Были случайные исключенья, и ни одного из них нельзя признать удачным. «Высокую Болезнь» я так широко и

свободно отрицаю, точно она еще в меньшей степени написана мною, чем все, что не мною написано в мировой поэзии. Я неудачно выразился: мировая поэзия хороша и близка нам, а эта вещь до призрачности ничтожна. Дальше так продолжаться не могло. Осенью я решил, как в таких случаях говорится, бросить литературу. Я получил работу по библиографии. Заработок был мизерный, заниматься приходилось с утра до позднего вечера. В этом заключалась приятность этой работы. Свободного времени она не оставляла. Пять месяцев я прохлопотал в совершенном забвеньи имен, соревнований, направлений, журнального разврата, журнальных обысков и доносов, которым стал подвергаться перед этим разрывом с литературой (что его и вызвало). И вот к весне что-то тронулось и пошло, как семь лет назад. Я начал роман в стихах. Я дал себе слово таить работу, пока всего не кончу. И опять непреодолимые матерьяльные причины легли поперек работы и механически отсекли то, что стало первой главой. Мне пришлось ее показать и понести на рынок. Вещь у меня оторвали с руками. Матерьяльное положенье достигло у меня той посредственности, о которой я мечтаю. Но вторая глава сложнее и глубже по духу. Я задержался. Потом увидал, что часть матерьяла должна еще попасть и в первую главу. Стал ее дописывать. И опять я не соразмерил времени, опять стало туго.

Я взялся за писанье детских вещей, на которые тут большой спрос, все пишут. Написал веселую, хрестоматийного рода «Карусель». Сошло. Тогда, по просьбе Чуковского и как бы для него, написал более серьезный и содержательный «Зверинец». В чаяньи удачи с ним перевез семью в деревню. И вот я никак не могу его пристроить. Удивительно, что я Вам об этом так подробно пишу.

Тут у меня был очень милый молодой человек, Фонтенуа, французский поэт. Он обещал переслать Вам первую главу романа. Получили ли Вы ее? Потом я послал Вам книжку прозы. Она так и должна была называться «Проза». Издательство заставило меня назвать ее «Рассказы», из тех соображений, что «Проза» названье смешное и чересчур «изысканное» (!). Последняя вещь в этом сборнике лишена конца. Это была краткая формула, выражавшая психологический тупик смертной казни, и цензура этот кусок запретила.

Вам не понравится мое письмо. Мне очень хотелось Вам написать, очень трудно было отказать себе в этой потребности и еще труднее дышалось за письмом. Вы знаете, я изнемогаю. Что то дальше будет? Нет почти вероятья, чтоб оно Вам что-нибудь сказало. Вот я завтра поеду к жене и сыну. Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора. Марина, попробуйте мне написать прямо по адресу: Волхонка 14 кв. 9. И ради Бога пришлите с оказией все новое. Ведь я еще и Психеи не знаю.

А если мне еще суждена работа, то в ее разгар, когда нет на свете близости, равной моей мысленной с Вами, моим отдыхом и праздником будет разговор с Вами о жизни, не этой, унизительно говорившей сегодня вместо меня, а той, которая ударяет в голову одиночества и которой никто не слышит.

Вы чище и крепче меня, потому что не изменились. А меня бы Вы не узнали. Если талант, в аналогии, представляется каким-то изгибом шейной мышцы, по-особому приподымающей подбородок, то эту горделивую породистую жилку постоянно находишь в Вас и не перестаешь замечать: мне кажется, я бы мог *Вас описать*, разбирая свое собственное чувство в минуты поэтического подъема. Но Вы и сами ее обнажаете, Вы пишете с раскрытым воротом, Ваш лиризм по-прежнему молод, святая поза осталась в нем. Я же перестал слышать себя, и свое чувство, и жизнь, и хотел бы знать только одну работу, которая мне кажется каким-то низко и плашмя освещенным фантастическим миром, отсвет которого падает на руки и на лицо, отбрасывая тень на все, чем и в чем я был когда-то. Только не оставляйте меня.

Ваш Б.П.

Письмо 31а
<10–14 июля 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис. Первое человеческое письмо от тебя (остальные – Geisterbriefe[22]), и я польщена, одарена, возвеличена, покорена, перевернута. Это письмо – перелом гордости (гордость – хребет), ты в нем (жест крайнего доверия), ты *поверил в меня*, что я – человек, приблизился ко мне на все те версты, удостоил меня своего черновика. Борис, на веру, я такой же и столько же (ни на милл<иметр> больше, ни на милл<иметр> меньше) человек, как ты. Мне вот уже (17 г. – 25 г.) 8 лет суждено *кипеть* в быту, я тот козел, которого хотят зарезать, которого непрестанно заре- и недоре-зывают, я то варево, которое (8 лет) кипит у меня на примусе, моя жизнь – черновик, перед которым – посмотрел бы! – *мои* <подчеркнуто трижды> черновики – белейшая скатерть. Я растерзана жалостью и гневом, жалостью – к своим, гневом – на себя: за то, что терплю. Презираю себя за то, что по первому зову (1001 в день) быта срываюсь с тетрадки, и *НИКОГДА* – обратно. Во мне протестантский долг, перед которым даже моя католическая любовь (к тебе) – шутки, пустяк.

Внешне: я живу не «за границей», а на поселении, сама готовлю, качаю воду, стираю, нянчу Георгия, занимаюсь с Алей по-французски (вспомни К.И.Мармеладову – это я). Я неистово озлоблена, и меня не любят, восхищаются, боятся. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени *думать*, думает перо. Утром 5 минут (время присесть), среди дня 10, вечером – вся ночь, но ночью не могу, другая я оживаю (слушающая, а некого, даже шумов садика – ибо хозяева запирают выходную дверь с 8 часов вечера, а у меня нет ключа). Борис, я живу *фактически* взаперти. У тебя хоть между редакцией и редакцией, редакцией и домом, есть куски, отрывки тротуара, пространства, я живу в котловине, задушенная холмами: крыша, холм, на холме – лежа – туча: туша. Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, не нужны, а вне – не стихов, а того, что́ их создает <вариант: из чего они> – что я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях. Да еще с мужской иронией!

Где я живу – деревня, с гусями, с водокачками. В Праге бываю раз в месяц, за ижданием, и вся <вариант: только и> радость – что не *опоздала* на *поезд* (роковое созвучие! <вариант: предначертанность созвучия>). Если бы восстановить мой день, шаг за шагом, жест за жестом – а попытаюсь! – получилось бы – что белка в колесе и что рабочий у станка (и спасает равномерность! <вариант: однообразно порядок муки, пытки), не белка и не рабочий – просто кельнерша в <оборвано>

Не 8-часовой, а 24-часовой рабочий день.

Ты не думай: деревня: идиллия. Деревня: свои две руки и ни секунды *своего* времени. Деревьев не вижу, дерево ждет любви (внимания), а дождь мне важен поскольку просохло или не просохло белье.

Вот я тебя не понимаю: *бросить* стихи. А тогда что? С моста в Москву-реку? Да, милый друг, со стихами как с любовью: она тебя бросает, а не ты ее <вариант: важно, чтобы она тебя бросила, не ты ее>. Ты же у лиры – крепостной.

[22] духовные письма; письма духа (*нем.*).

* * *

Две комнаты – крохотные, исчерченные трубами, железная печка, как в России. Все вещи наруже, не ходишь – спотыкаешься, не двигаешься – ударяешься. Посуда, табуретки, тазы, ящики, сплошные острия и углы, вся *нечисть* быта, яростная. Тетрадям одним нет места. На том же столе едят и пишут (муж – докторскую работу «Иконография Рождества», Аля – французские переводы, я – налетом – Крысолова).

* * *

Не писала Вам домой – инстинкт. Оказия – в никуда («во сне всё возможно» <вариант: почти что на тот свет>), адрес – обязывает. В Вашем пожелании я вижу призыв к порядку. Подчиняюсь.

Письмо 31б
Вшеноры, близь Праги, 14 июля 1925 г.
Цветаева – Пастернаку

Борис,

Первое человеческое письмо от тебя (остальные Geisterbriefe), и я польщена, одарена, возвеличена. Ты просто удостоил меня своего черновика.

А вот мой черновик – вкратце: 8 лет (1917 г. – 1925 г.) *киплю* в быту, я тот козел, которого непрестанно заре- и недоре-зывают, я сама то варево, к<отор>ое непрестанно (8 л<ет>) кипит у меня на примусе. Моя жизнь – черновик, перед которым – посмотрел бы! – *мои* <подчеркнуто трижды> черновики – белейшая скатерть. Презираю себя за то, что по первому зову (1001 в день!) быта (NB! быт – твоя задолженность другим) – срываюсь с тетрадки, и НИКОГДА – обратно. Во мне протестантский долг, перед которым моя католическая – нет! моя хлыстовская любовь (к тебе) – пустяк.

Ты не думай, что я живу «за границей», я живу в деревне, с гусями, с водокачками. И не думай: деревня: идиллия. Деревня: свои две руки и ни одного *своего* жеста. Деревьев не вижу, дерево ждет любви (внимания), а дождь мне важен поскольку просохло или не просохло белье. День: готовлю, стираю, таскаю воду, нянчу Георгия (5 ½ мес<яцев>, ЧУДЕСЕН), занимаюсь с Алей по-франц<узски>, перечти Катерину Ивановну из «Преступления и наказания», это я. Я неистово озлоблена. Целый день киплю в котле. Поэма «Крысолов» пишется уже четвертый месяц, не имею времени *подумать*, думает перо. Утром 5 мин<ут> (время присесть), среди дня – 10 м<инут>, ночь моя, но ночью не могу, не умею, другое внимание, жизнь не в себя, а *из* себя, а слушать некого, даже шумов ночи, ибо хозяева запирают выходную дверь (ах, все мои двери *в*ходные, тоска по *вы*ходной – понимаешь?!) с 8 ч<асов> вечера, а у меня нет ключа. Борис, я вот уже ГОД живу *фактически* взаперти. У тебя хоть между домом и редакцией, редакцией и редакцией отрывки тротуара, простора, я живу в котловине, задушенная холмами: крыша, холм, на холме – туча: туша.

Друзей у меня нет, – здесь не любят стихов, а вне – не стихов, а того, *из чего* они – что́ я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях.

Вот я тебя не понимаю: *бросить* стихи. А потом что? С моста в Москва́-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока *она* тебя не бросит… Ты же у лиры – крепостной.

* * *

Сопоставление с Есениным, – смеюсь. Не верю в него, не болею им, всегда чувство: как легко быть Есениным! Я тебя ни с кем не сопоставляю. Ты никогда не будешь ПЕРВЫМ, ведь первый – великая тайна и великий шантаж, Борис! – только какая-то степень последнего, тот же «последний», только принаряженный, приукрашенный, обезвреженный. У первого есть второй[23]. *Единственный не бывает первым* (Анненский. Брюсов).

* * *

И Прозу и поэму получила. Название «Проза» настолько органично, а «Рассказы» настолько нарочито, что я ни разу, понимаешь, ни разу, с тех пор, как взяла книгу в руки,

[23] NB! Формула: «первый» это последняя ступень лестницы, первой ступенью которой является «последний». – *Приписка М.И.Цветаевой*.

не говорила о ней иначе, как «Проза» Пастернака. Никогда – «Рассказы». Разве ты можешь писать рассказы? Смеюсь. Рассказы, это Зайцев пишет. Проза, это *страна*, в ней живут, или море – черпают ладонью, это ЦЕЛЬНОЕ. А рассказы – унизительная дребедень. Дурак издатель. Ах, Борис, сколько дураков и наглецов.

*** * ***

О Георгии узнал от Аси? Передай ей, что я ей писала бесчисленное число раз по самым фантастическим адресам, посылала книги, деньги и вещи. Передай ей, что я ее люблю и что я все та же. И что от нее за 3 ½ года не получила ни строки, только раз – устную весть через какого-то чужого, с какой-то службы. И еще – давно – от Павлика.

<Конец первого листа письма. Остальная часть письма не сохранилась.>

<На полях:>

Адр<ес>: Чехо-Словакия, Všenory, č. 23 (p.p. Dobřichovice) u Prahy.

Дошел ли «Мо́лодец»? Послан с оказией.

Письмо 32
16 августа 1925 г.
Пастернак – Цветаевой

Я во многом перед Вами виноват. И запоздалость ответов против других грехов еще вина последняя. Но как-то странно, как раз в тех случаях, когда ответ на многое в Ваших письмах вырывается за их чтеньем безотчетно, восклицаньями, – ответные письма залеживаются или не удаются.

Невольно вскрикнул я над двумя местами. Над известием о кончине Рильке и над предложеньем помощи.

Начну с последнего. Было последним свинством посвящать и Вас во всю эту грязь. Я называю это грязью потому, что это затрудненья никак не человека, а мытарства мещанские, до непозволительности мещанские, то есть до такой степени, что будь Вы тут, Вы и сами мне их так в глаза назвали. Коротко говоря, чтобы Вам все было ясно, это вот что. Это – часть отцовой квартиры, втрое по квадратуре площади превосходящая то, что нам троим нужно, по количеству же и устройству комнат и печей не поддающаяся сокращенью; это, затем, целый арсенал совершенно не нужной нам мебели и вещей из иной и уже давно чужой эры, двусмысленных и вредных на чужой взгляд и, как-никак, порабощающих нас хотя бы своим количеством. И наконец – это двойственная, всегда полуподавленная, наполовину же раздраженная психология самих обитателей, это мое сознанье, что большая часть моих усилий пропадает даром и что целость этой нелепости, переживающей обостренье за обостреньем, – лучший нравственный патент моего безволья, нерешимости и ненаходчивости. И вот, всему этому Вы хотите прийти на помощь! Как Марина, как большой и, значит, строгий и проницательный голос правды, как друг, как что хотите, Вы уже, конечно, угадали мой черновик, т. е. в той же мере и черновик жены, – потому что она резче и решительнее меня на все это смотрит. И значит прибавлять ничего не надо. Но если бы, не дай Бог, я не успел Вам этого сказать и Ваши намеренья остались жить, я бы одно их существованье переживал как громкую несообразность, как пощечину, данную себе на всю жизнь. Это дико. Вам в тысячу раз трудней, и трудность Вашей жизни слышна истории, она *современна*, стесненье, в котором Вы живете, делает честь всякому, кто к нему прикоснется. А мои матерьяльные неурядицы – архаизм, дичь, блажь, мыльные пузыри, практическое несовершеннолетье. И я так горячо все это расписываю не в отклоненье только предложенного: об этом и разговору быть не может, и это бы значило в открытое ломиться, это и Вы сами поняли, и жар моих представлений тут излишен. Но мне просто хочется, чтобы Вы это знали и не думали обо мне лучше, чем я того заслуживаю, зрелище неблаговидное, говорю Вам. Также за намеренное, подтвержденное оскорбленье сочту я и присылку чешского гонорара за перевод прозы, если это гадательное предположенье осуществится (гадательным же оно кажется мне по неинтересности, т. е. ненужности, безжизненности этой прозы в наше время). Нет, ради Бога, Марина, пусть все будет по-прежнему, умоляю Вас, умоляю во имя пониманья *дела*, на которое я так всегда любовался. А по-прежнему это значит я Ваш должник, и моего долга ни обнять, ни простить, ни оплатить. Вот оно. Иное расположенье не отвечало бы жизни, т. е. было бы почему-либо фальшиво.

А когда я прочел о Рильке, я попросту разревелся вовсю. Что удивительного! Одно время, т. е. после глухого семилетнего разъединенья между Европой и Россией, я страшно боялся, что Рильке уже нет в живых, и с этим страхом поехал за границу. Можно просто сказать, что это опасенье было моим единственным дорожно-душевным грузом. В нем сходилось, завершаясь, все. Чувство неизвестности о Германии, чувство сострадательной тревоги

за нее. Чувство неизвестности и тревоги за свое детство, за свои собственные корни. Какая-то перемешанность времен, разных и противоречащих, одновременно расквартированных в разных местах и то наступательных, то эвакуирующихся, временных в разной степени и несвоевременных в одной – высочайшей, бесконечной. Писать в таком духе на эту тему – чистый разврат. Но если хотеть сказать точнее, то бегло, в письме, надо было бы сказать, что Рильке среди всего этого душевного замешательства, разумеется, не было места, в олицетворенье этого сумбура он годился всех меньше, да и вообще не годился никто с лицом. Не годилась, для примиренья и объединенья этих мотавшихся горизонтов, и личность, их качку переживавшая. А между тем, эти не вымышленные и не наснившиеся призраки концов, разрывов и пр. и пр. какой-то точки, вокруг которой бы они уживались, требовали. И вот, бессознательно, я, так сказать, посвящал все эти ощущенья Рильке, как можно посвятить кому-нибудь свою заботу или время. Мне думалось, именно в этом химерическом воздухе, только и делавшем, что превращавшем нас в химеры или же нас химерами объявлявшем: Жив ли Рильке? Что он об этом думает? В какой он рамке, если он жив и – Рильке? Кто он теперь, если он ни во что не обрамлен?

И как удивительно, что я не собрался к нему в Швейцарию! Если я когда чаял какой-то награды за принятую и поднятую в этой жизни горечь, то только всегда в мечте о поездке к нему. – И вот в 22-м году я узнал, что он жив, но давно ничего не пишет. Мне даже обещали адрес его достать. И тут я перестал за него бояться, точно когда узнал, что он «так, ничего, как все смертные», уверился, что ни ему, ни мне, ни его адресу, ни исполнимости моего желанья не будет никогда конца.

Сызнова я стал думать о посещеньи его при мысли о встрече с Вами. Вы часто спрашивали, что мы будем с Вами делать. Одно я знал твердо: поедем к Рильке. И даже одно такое сиденье у него однажды снилось мне. В этой сцене много было материально-элементарного, природного, много такого, чему он развязал язык своими книгами, немало чего перешло от него ко мне, да отчасти и к Вам.

Еще недавно, но до известия о его смерти, в ответ на запрос Либермана для голландского ежегодника (он запрашивал ведь и Вас), я приписал ему главное и решающее на себя влиянье. Мне страшно хотелось, чтобы это признание попалось ему на глаза. Если Вы что-нибудь знаете о его смерти поподробнее, непременно напишите. А я за этим известием вмиг осиротел и на много-много лет состарился. Но эта весть попала на благодарную почву – я уже и говорю-то трафаретами, как пенсионеры.

Нет правда. Я больше стал думать, чем чувствовать, и – Вы не смейтесь, – без этого не обойтись. Я по собственному опыту начинаю теперь понимать, из чего должна была быть у этого человека рамка, если бы он жил и оставался собой. Интерес к упущенному, пополненье пробелов, оставленных удивительной нашей невежественностью по части всего, что не обняла в отрочестве наша метафора или рифма, воспитывает, горбит, стыдит, но зато и обещает связать бессвязное. Сколько лет ушло на наших глазах, как далеко те годы, в которые мы себя помним! А ведь по-настоящему и этого-то, интимнейшего, чувства нам голыми руками уже не передать! Мы хиреем, и если чего-то нам не сделать сейчас, то скоро мы не в состоянии будем измерить и горечи нашей и возраста и оставленности, и самого нашего, наиближайшего. Это оттого, что в память нашу, как бы она ни была жива, вошло очень мало существенного в свое время, т. е. такого, что сложило событья и определило теперешнее время. Мне трудно, например, видеть в перспективе себя и свое, настолько же трудно, насколько легко это «сто лет назад» давалось моей непосредственности. И без нашего ведома, мы таким путем обращаемся в полную противоположность тому, что так любили в искусстве. Секреты дали и близости, расплывчатости и точности, предугаданности и внезапности, т. е. тот такт неповторимости, кот<орый> отличает жизнь и поэта от словесности, – все это начинает уплывать из рук, переставших вновь и вновь, по-живому, этими тайнами обращаться. Это

оттого, что многое, бывшее нам природой, успело стать, не по-газетному, а поистине – *историей*. А ее нужно знать в глаза, и за глаза о ней знать столько, сколько надо для оценки ее головы, заглядывающей в комнату. Без этого мы становимся византийцами, мастерами мозаики, и наше дело уплощается до двухмерной орнаментальности. Мы рискуем быть отлученными от глубины, если, в каком-то отношении, не станем историографами. Марина, простите за эту беспорядочную болтовню, – в ней должно б быть порядку, но это требованье у меня теперь распространяется на все, что мне дорого и дышит, т. е. на то, вокруг чего есть воздух, что невымышленно существует, с чем я сношусь по разряду глубины. Скоро воздух, воздух жизни мой и Ваш и нашего скончавшегося поэта, воздух крепкого и срывистого стихотворенья, воздух мыслимого и желающегося романа, станет для меня совершенно тождественным с историей. Мне все больше и больше кажется, что то, чем история занимается вплотную – есть наш горизонт, без которого у нас все будет плоскостью или переводной картинкой. Мне хочется, чтобы у атмосферы был возраст и сожаленье, чтобы лучи преломлялись средой, которая помнит, числит и ценит расстоянья. Даже огурцы должны расти на *таком* припеке, на припеке исторического часа. Понимаете ли Вы эту чушь?

Ну и вот, оттого-то я и не писал Вам. Нечего мне Вам в этом отношеньи показать, нечем поделиться, не о чем спросить и посоветоваться. Когда то сделаются такие вещи! Сколько надо работать! И только набредешь, нащупаешь, как и где кладутся пирамиды, не с тем, чтобы самому их класть, а хоть бы чтобы не мешать и не быть смешным занятым их кладкой, глядишь – тут дыра, там прореха (это в житейских обстоятельствах), и сломя голову надо бежать их заделывать какой-нибудь дешевой чепухой, отвратительной, давно тобой самим осужденной поделкой. Вот когда и отчего я и прихожу в отчаянье, только в таком смысле я и жалуюсь на нашу участь. Работать не терпится, без работы душе нашей конец, полное выбытье, беззубость, а работать не дает именно то время, кот<орое> с угрозою взывает к ней. Это не письмо, а позор, я его поскорее поспешу смыть.

Пока простите.

Ваш Б. [24]

Сейчас я на рассвете приехал в город. В проходе трамв<айного> вагона недалеко от меня стояла женщина. Она могла бы быть Вами. Никакого сходства, но что-то в чертах открытого, хорошего лица и в глазах от Аси и м.б. от Вас. Я глядел на нее и радовался пасмурному утру и московским домам в лесах и знаках малярных работ, и непререкаемости закона, по которому подмосковные дачи в серые осенние утра выбрасывают на первые поезда такую кучу народа, и тому, что Вы тоже как все, и спешите с нами на службу. И разумеется, лишь только я это лицо заметил и, распорядясь воображеньем, объявил Вашим, как сразу же улыбнулся глупости, никчемности и многословию письма, написанного накануне, перед городом. И если бы это чувство было хоть чуточку слабее, я бы поколебался, посылать ли его Вам. Но оно такое верное, старинное, издалека укрепленное, что ему вообще никакого дела до писем нет.

<На полях:>

«Молодца» я не получил и книжек жду с нетерпеньем.

[24] Нет, действительно, не отвечайте, пока не пришлю поприличнее. – *Приписка Б.Л.Пастернака.*

Письмо 33
<втор. пол. сентября 1925 г.>
Цветаева – Пастернаку

Что у Вас сегодня ночью не звонил телефон? (которого нету) Так это я к Вам во сне звонила. 50–91. В доме, где <вариант: откуда> я звонила, мне сказали, что 50–91 – мастерская и что там по ночам спят. Никто не подошел, но я услышала <вариант: я стояла и слушала> тишину Вашего дома и, быть может, Вашего сна.

* * *

Отчего *все* мои сны о Вас – без исключения! – такие короткие и всегда в *невозможности*. Который раз телефон, который я от всей души презираю и ненавижу, как сместивший переписку, и которым *пользуясь*, вкладываю всю брезгливость, внушаемую этим глаголом. А иные разы – не помню, писала ли, улица, снег, переулки. То Вас дома нет, то мы на улице и вообще дома нет, ни Вам, ни мне <вариант: нам вместе>.

* * *

На Ваше письмо (как я ему обрадовалась!) так долго не отвечала, п.ч. кончала большую статью о Брюсове – листа 4 – конечно, не статью: записи встреч и домыслы. *Не* человека, не поэта – фигуру Брюсова. Называется «Герой труда». Последние слова, дающие *всё* написанное: И не успокоится мое – —

Задача была невозможная, т. е. достойная: дать, вопреки отврату очевидности, крупную фигуру, почти что памятник, которым он, несомненно, был. Есть и о Вас – немного, предмете его жесточайшей – и последней ревности (больше, чем зависть!), о Вас, примере *поэта*. Вы же не минуете ни одной моей мысли! Правильнее бы, Вас не минует ни одна и т. д., но, очевидно, Вы настолько в движении, что все-таки *Вы* не минуете.

Хороший памятник Брюсову. Несомненно *лучший*. Я довольна.

* * *

О Рильке. То же, что я. Я ему тоже все вверяла: всю заботу, всё неразреш<имое>. Он был моим живым *там*. О влиянии – непосредственном – не знаю, я его впервые прочла в Берлине, в 1922 г., уже после Ремесла. Не влияние, а *до* знания – слияние. О, Борис! Хотите одну правду? Тогда, в Берлине, две книги вместе – Сестра моя жизнь и книга (*одна* ведь) – Рильке. И я, тогда, чтобы освободиться от Вас, п.ч. Вы еще живы и, следовательно, трагически, растравительно (как Рильке – Вам) доступны, отыгрывалась Рильке: Вот еще бóльший, чем Пастернак. Это в самый разгар моей любви к Вам. Я очень счастлива, что есть высшее Вас, и Вы должны быть счастливы, иначе – бог и тупик.

Да, умер. А Вы дум<аете> – *я* не собиралась? Я ведь зна<ла>, как войду, как и что не уйду. Сяду у ног, руки переплету на коленях, гляжу снизу, все равно – какое лицо. А потом вжать в руку лоб, так я, не раскрывая губ, моих богов – ем. (Только из себя понимаю причастие, извне – чудовищно.)

Ты думаешь – к Рильке можно вдвоем? И, вообще, можно – втроем? Нет, нет. Вдвоем можно к спящим. На кладбище. В уже безличное. Там, где еще лицо… Борис, ты бы разо-

рвался от ревности, я бы разорвалась от ревности, а м.б. от непомерности такого втроем. Что же дальше? Умереть? И потом, Рильке не из благословляющих любовь, это не старец. (Не «к Толстому», не Рабиндранату и пр.) К Рильке за любовью <вариант: с любовью> – любить, тебе как мне.

– К Рильке мы бы, конечно, поехали.

* * *

Вообще [мы бы] *с тобой* бы непрерывно ездили, не жили бы. (Ироническая заведомость, предрешенная сослагательным!)

* * *

Да! о другом! Скоро все мои связи возвращаются с дач. Если получишь посылку (когда – не знаю, но говорю заранее), вязаный костюм и верблюжью куртку Асе. Шарф тебе. Розовая куртка мальчику. Прости, глупо, что розовая, не я выбирала, мне подарили для Мура, а ему велика. В Париже, где я надеюсь быть к 1-му ноября, достану ему целый костюм – голубой. Оттуда оказии будут. И лучше не говори, от кого, просто – прислали. Ты ве<дь> можешь и не знать. Я тебя очень люблю.

Хотела и твоей жене, но лучше не надо, она меня не любит и вряд ли будет любить, не нужно щемящести мелочей.

* * *

Мой сын очень хорош. 7 ½ месяцев. Классическое: сидит, смеется. И *не* классическое, собственное – ругается скороговоркой, как индюк, выразительно, властно, всегда по *адресу* и всегда по мужскому. Вырастет феминис*том*. (Хорошее определение мужской ветрености?)

* * *

Ты моей жизни не знаешь, знаешь ее отрывками, точно я уже умерла. Так вот еще отрывок: к 1-му ноября, кажется, еду в Париж – месяца на три, п.ч. вряд ли устроюсь твердо. Мой первый выезд из – даже не Чехии, а окрестностей Праги, попросту – из деревни – за 3 с лишком года. Еду с детьми, С.Я. пока остается в Праге, кончать докторскую работу. Радуюсь? Не знаю. Если будут какие-нибудь большие дружбы в Париже, если заработаю себе человеческую душу (на все века) – За иным не сто́ит. – А еще, и гораздо сильнее, радуюсь вагону.

* * *

Да, главное: твоя проза, по всей вероятности, к весне будет издана отдельной книгой. Гонорар переведу. Раньше весны невозможно, всякие – опередили, чешский рынок завален (дрянью).

Письмо 34
4 января 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Наверное, эта капля переполнила чашу и незачем писать, меня ничто не извинит. Я годами заболеваю графофобией. Если это состоянье Вам неизвестно, я давно осужден и сейчас лью чернила впустую. Но у меня лежит третий месяц Асино письмо к Вам, и так как немыслимо было посылать его Вам без сопровожденья, то я попал в некрасивое положенье и перед нею. Однажды, когда, как это часто бывало, мне казалось, что я Вам напишу на другой день, я сделал уже просто черт знает что: я на ее тревожный запрос о письме соврал ей, что оно уже послано. Если даже и допустить житейский софизм о дозировке бессовестности, то и в таком случае мне нет извиненья. Я думал, что пробуду лгуном не больше суток, а эти сутки выросли в несколько недель. И вот я Вам пишу в самое неподходящее время. У меня мучительно болит зуб, я только что от врача, он мне не помог, зуб только пуще разболелся, я себе места не нахожу, самое лучшее перенестись к Вам в Прагу. Но все это, все это пустяки. Есть две важные вещи, о кот<орых> будет разговор, и позвольте мне обратить их в порядок. Вы уже, конечно, узнали о смерти Есенина. Этот ужас нас совершенно смял. Самоубийства не редкость на свете. В этом случае его подробности представились в таком приближенном и увеличенном виде, что каждый их точно за себя пережил, испытав, с предельным мученьем, как бы на своем собственном горле, людоедское изуверство петли и все, что ей предшествовало в номере, одинокую, сердцеразрывающую горечь, последнюю в жизни тоску решившегося.

Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности – это крайнее воплощенье того в поэзии, чему нельзя не поклоняться и чему остались верны Вы, а я нет. Последнее стихотворенье он написал кровью. Его стихи неизмеримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в буйстве и страсти. Вероятно, я не умею их читать. Они мне, в особенности последние (т. е. не предсмертные, а те, что писались последние 2 года), говорят очень мало. Стихией музыки все это уже давно пережито. Я не помню, что́ именно я писал Вам летом о тягостности, связанной у меня с ним и его именем. Между прочим и он, вероятно, страдал, среди многого, и от этой нелепости. Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни раза, чтобы я не отклонял этой несуразицы. Я доходил до самоуничиженья в стараньи разрушить это сопоставленье, дикое, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горящей жизни, бездонная почвенность, популярность, признанность всеми редакциями и издательствами и пр., здесь – мирное прозябанье, готовое расписаться в своей посредственности, постоянная спорность, узкий круг, другие, несравнимые загадки и задачи, конфузящая обстановка отказов и двусмысленностей. И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устраненье фальшивых видимостей из жизни, т. е. когда, точнее, я услыхал свои же слова, ему сказанные когда-то, и лишившиеся, в его употребленьи, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и *только* за это, дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности. Он между прочим думал *кольнуть* меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в постоянную радость себе вменяет это собственное признанье. Сейчас горько и немыслимо об этом говорить. Но я пересматриваю и вижу, что иначе я ни чувствовать, ни поступать тогда не мог, и, вспоминая ту сцену, ненавижу и презираю ее виновника, как тогда.

Я не знаю, как у Вас там, но и происходило все это, и дни шли, и догорал и сгорел он, и Молодца Вашего я получил, и треплюсь и раскалываюсь, и письмо Вам пишу я в воздухе, в котором поэзии нет и который на нее не отзывается. Я к этому еще вернусь, если о себе в конце заговорю.

Ну тут извиняться, объяснять уже просто гадко. Можно без этого? Спасибо, спасибо, спасибо. Большая радость, большая честь, большая поддержка. Большое Горе: если Вы еще о посвященьи не пожалели, то пожалеете. Годы разведут нас в разные стороны, и я от Вас услышу свои же слова, серые, нехорошие, когда их тебе о себе самом возвращают, как открытье. Так будет, потому что – скользнуло предчувствие. Потому еще, что я знаю смысл своих усилий, и знаю, что с собой делаю и куда веду, и знаю Вас и Вашу верность своему лицу, вспыхнувшему разом, в молодости, на все времена, и увиденному в стихе и в жизни, и пущенному на дно души, как переживанье облика, постоянного, на все времена.

Теперь о сказке. Настоящая сказка, несмотря на то, что менее кондовая, уставная, чем Царь-Девица, более своя, более прихотливая. Но все отходы от торной сказочности утверждены, даже самые причудливые. Может быть расписываюсь в собственном невежестве, но кажется, будто есть такая, должна быть, несмотря на неожиданность мраморов в снегах и деревца и всего, в них творящегося. Драматично и больно, трогательно. Не хочется оглядывать в целом, поддаваясь чутью, что сказочное событье несет сторожевую, символическую службу. О целом, о единстве не думаешь, не сплывается, а катится, развертывается, роится. Написано очень широко, очень разгонисто, приходится говорить о партиях, мельчайшее деленье – совокупность нескольких строф. В этом отношеньи прекрасно строют и подгоняют изложенье, сразу указывая широту неделимых долей и быстроту их следованья, замечательные, лейтмотивные

…… У Маруси выше всех. ……

и

…… Проводи меня, Маруся, до ворот.

Дальше для краткости буду поскупей и вместо цитат просто привожу страницы. 17–18–19. Мастерски передано движенье на воздухе и его совместность с душевным движеньем в один и в другой конец. 27–28. Выпытыванье. 31. Важная. Книжная. 38–40. Чудесно изложено заклятие. Как справились! И какая точность в экспозиции всего последующего, при всей сложности и прихотливости провозвещаемого. Барин и Мрамора (сказочная красочность). 62–63. *Очень хорошо.* Настоящая Ваша лирика. 70–71. Гости. 76; 79; 82; *очень хорошо*. 77–78. *Очень хорошо* <подчеркнуто дважды>. Повторенья (ритмические и тематич<еские>) из I^{й} части! На селе. Возглашенья, сплетающиеся с голосом собственной души Маруси. Конец. Все это так чудесно льется в своей однородной щедрости, что некоторые строчки, сами по себе невинные по языку и стилю, в этом потоке кажутся описками. Это «Все промахи чувств» (52), «Судит зрело» (65), «Что зуб, то брешь» (80) – но и то написал я, и мне стыдно стало. Точно я Львовым-Рогачевским становлюсь.

Больше всего поразила широта письма. Три-четыре приведенных (и подчеркнутых) восхитительных места разбрызгиваются по всей ткани, задают ей тон, в нее незаметно переходят. *Кажется, что все так же хорошо написано, как эти лирич<еские> сгустки*. А это завидное свойство большой, со вкусом проведенной композиции, подчинить легкие части основным так, чтобы они казались их качественным продолженьем.

5 января 1926 г.

Вчера вечером я Вам писал, еще состоя в человеках. За ночь у меня сделался флюс, впервые в жизни. Теперь сижу кругом обмотанный ватой и фланелью, чувствую себя свиньей-копилкой, и даже направленье мыслей какое-то поросячье под хреном. В таких духах совершенно не в состояньи обременять Вас своим присутствием. Воспользуюсь превращеньем и напишу родителям, которым не писал больше полугода. Может быть до спада опухоли успею также написать и Эренбургу. С Вами же поспешно прощаюсь, и Вы не глядите в мою сторону, если по московскому обычаю еще с час, расставаясь, протопчусь на пороге. До свиданья. Не смейте думать, что вот, мол, и этот дождевик лопнул и осыпал сушью. Это не так.

Когда я уверюсь, что рифмы и размер у меня окончательно ни к селу ни к городу, я стану третьестепенным историком. Пока же поправляю ужасные дела и еще ужаснейшую репутацию большой работой в стихах о 1905-м годе. Это не поэма, а стихотворная хроника. Пишется в календарной последовательности, в форме отдельных картин. Кое-что уже сделал, юбилейные сроки все пропустил, будет выходить в 1926-м году. Когда напишу о Шмидте, пошлю эту часть Вам. Я знаю, Вы им увлекались.

Откуда Вы взяли тогда о Рильке? Он, сл<ава> Богу, жив и здравствует. Я получил из Германии его «Sonette an Orpheus», книжку, написанную недавно, в 23-м году, после большого, затяжного перерыва. Меня она глубоко взволновала теми именно особенностями, в силу которых она поэтически невероятно для Рильке бледна. Меня это близко тронуло, как простая, житейски понятная болезнь большого и дорогого духа. Прежде всего поразило, что с человеком, поставленным в совершенно другие, нежели мы, условья, делается то же самое, что и с нами. В этом сказалась общность эпохи и ее невымышленная, непреодоленная трудность. В этой книжке он (местами) ввязывается в разговор с духом времени (машина, война, аэроплан и пр.), рассуждает, поучает, оправдывается. Тяжелые, дидактические эпизоды. Всегда, во все эпохи в искусстве сосуществуют взаимно обязанные друг другу: 1) хороший, преемственностью оправданный, до некоторой степени общий народу и времени стиль и 2) кто-нибудь один (или несколько человек, это безразлично), вновь и вновь, в который раз в истории, наперекор ее скольженью, восходящий к самому *началу* художественной стихии, к ее абсолютному роднику. Оригинальность по существу и есть тяготенье к первородному в искусстве. Если по отношенью к Рильке я не только его современников, но и лучшие немецкие традиции, вплоть до Гётевской, воспринимал как фон к его своеобразью, то надо сказать, что в этой книжке он заговаривает голосом фона. Поучительно и это обстоятельство. Этот шаг бессознателен. Но он доброволен. И все-таки книжка замечательная. Я ее без конца читаю. То, о чем я говорю, только оттенок, не более того.

На этом удручающем рассужденьи «о двух типах и пр.» я, забывшись, некстати заскрежетал зубами. Легко вообразите, что со мной сделалось. Прощаюсь с Вами с совершенно искаженным лицом, не хуже, т. е. хуже, гораздо хуже Вашего упыря. Ответьте поскорее Асе и не слишком черните меня. За сказку не могу словами сказать, как благодарен. Я ее не стою, не стоил, не буду, не могу никогда стоить. Но это ничего. Нестоющее – принцип строенья материи, сыпучий, атомистический мир, в котором и я живу, вслед за Вами.

Ваш Б.П.

Письмо 35
1 февраля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Спасибо за карточку и за письмо. Еще большее спасибо за порученье. Я верю в Вас, и мне хорошо при мысли, что это напишете Вы и вложите в это свою душу и силу. Мне хотелось сделать это сколь можно полно. Получив Ваше письмо, я тотчас же заказал ремингтонные копии с вырезок, какие можно было тут достать. Я написал Устинову[25], последнему, с кем виделся Есенин накануне самоубийства. Ответа еще не получил. Быть может, он прямо Вам в Париж напишет. Тогда я буду об этом знать. Не тесните меня сроком. Я могу все это послать но почте. Но надо быть уверенным, что все это дойдет. Я бы предпочел оказию. Мне кажется, хорошо было бы зайти со всем этим матерьялом к Луначарскому или в Главлит (в цензуру), чтобы быть уверенным, что со всем этим не произойдет какого-ниб<удь> глупого недоразуменья. Оказия будет через недели две.

Месяц назад я Вам писал в Прагу. В конверт было вложено Асино письмо. Получили ли Вы его? Судя по некоторым вопросам Вашего парижского, оно не дошло до Вас.

Часть сведений, сообщаемых Вами и имеющих отношенье до меня, мне помочь не могут. С матерьяльными трудностями справляюсь. Но время трудное, – безо всякого комментария, трудное для всех, для всякого, везде. На мгновенье обманываешься новою работой, новым усилием раздвинуть свои границы, переселить чутье, честь и правду куда-нибудь еще, с места, на котором застал их с детства. И всякая такая попытка кончается отчаяньем. Нарочно посылаю пробы. Это из большой работы о 905 годе. Интересно, что Вы скажете о стихах про вонючее мясо и пр. Но что бы Вы ни сказали, я это болото великой, но болезненно близкой и внеперспективной прозы изойду из конца в конец, осушу, кончусь в нем. Начинаю с 905-го, приду к современности.

Правда, умоляю Вас, дорогой друг, напишите мне резко и серьезно, что Вы думаете о вонючем мясе, разговорах и прочем. Дома (жена и брат) ужасаются, говорят гадость и где тут поэзия, вероятно, так же думает и Маяковский. То, что нравится ему в цикле, не нравится мне, – это Пресня, которой Вам не посылаю: романтизм, метафора, пустяки. А мне сейчас важно, как одолеть болото. Обязательно напишите. В письме в Прагу говорил о Молодце. Горжусь Вашим посвященьем, горжусь и как-то постоянно расстаюсь с ним. Молодец сейчас у Эвы. Если Пражского письма не видали, сообщите, напишу подробно, сейчас не хочу говорить, повторюсь, а вдруг Вам все же переслали. Три места там восхитительного лиризма, написано широко, швырком, разметисто.

Мне звонила Ася из «Узкого». Это санаторий Цекубу под Москвой. Она пробыла там месяц, скоро возвращается. Подробно расспрашивала про «Молодца», кот<орого> еще не читала (он от Эвы к ней перейдет). Говорит, отдохнула. Просила писчей бумаги ей послать. Пишет сказки, свои, знаете? Мне нравится род и складка ее фантазий, чутье живой формы, Вы понимаете? Но никуда ее писаний не пристроить, я и не берусь, да она об этом и не думает.

P.S. Только что пришел человек с матерьялами из Петербурга. Среди них исчерпывающее письмо Лукницкого, со множеством важных подробностей. Думаю, это письмо будет стержнем испрашиваемых Вами достоверностей. Кроме того множество статей. Отнесли переремингтонить.

---

[25] Кроме Устинова, написано еще и Петербург Лукницкому и Всев. Рождественскому. – *Приписка Б.Л.Пастернака*.

Узнал, что оказия будет между 10-м и 15-м февраля. Отложите работу на неделю. Жалко будет, если все это затеряют на почте.

<На полях:>

Посылаю бандеролью «Кр<асную> Ниву» с автобиографией Есенина. Это проба. Напишите, дошло ли.

Письмо 36
23 февраля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Получили ли Вы уже статьи о Есенине? Если нет, то на днях получите. Они будут Вам доставлены на дом.

Обращенье в гостинице. Ни в коем случае не барин. Вероятнее всего, гражданин. Это трактирное, ходовое, как в старину с-ер. В его же случае могло быть более прямое и теплое (если знали), товарищ Есенин или же просто по имени-отчеству. Вероятнее всего, товарищ Есенин, характеристичнее всего (для полового) – гражданин.

Гостиница «Англетер» на Вознесенском проспекте, близ Исаакиевской пл<ощади>, из окна номера вид на нее. Возьмите план и описанье Петербурга, думаю, можно найти. Путь от вокзала гадателен. Как Вы его ни восстановите по плану, он будет правдоподобен. К характеристике места. Область, в которой разыгрывается Преступленье и Наказанье, сколько помню, главным образом в Свидригайловской части. Недалеко отсюда Сенная, притоны, короткие бредовые прогулки Раскольникова. Последнее время Есенин, встречаясь с людьми, отрывисто представлялся: Свидригайлов. Так поздоровался он раз с Асеевым. Слыхал и от других.

Шуба и меховая шапка. В сведеньях, сообщенных Лукницким, имелось указанье, что на ночь, оставшись один, потребовал в номер пива, и наутро, когда взломали дверь, обнаружили три пустые бутылки. Под этими словами была сноска. Лукницкий просил этой подробности не распространять. Прочтя это замечанье, я тотчас же вычеркнул все о пиве в рукописи Л<укницкого>. И потому в ремингтонной копии, отправленной Вам, Вы ничего этого не найдете. Я бы и Вам (следуя его просьбе) этого не сказал, когда бы не настойчивость В<ашего> вопроса с указаньем на важность этого пункта для Вас. Прямого выраженья этой детали Вы давать не вправе, тут я к просьбе Л. присоединяюсь. Кстати, описанье, данное Л., наиболее полное и ценное из всего, Вам посланного. Вы этот матерьял узнаете по заголовку. Точно его теперь не помню, но в нем названы: Устинов, Фроман, Шкапская, Эрлих и др. лица, которых Л. опрашивал. Сам Л. – приятель Ахматовой, лично его не знаю, может быть знаете Вы. Отзывчивый и обязательный человек.

На днях узнал версию, кажущуюся мне вздорной и неправдоподобной. Надо будет переспросить Казина, на которого ссылался рассказывавший. Будто бы Е<сенин> перед отъездом говорил К<азину>: «Вот увидишь, как обо мне запишут». С этим хотят поставить в связь домысел о том, будто бы Е. хотел устроить *покушенье на* самоубийство, в чем между прочим ищут объясненье факта, что кисть правой руки была у него на горле и защемлена петлей. Так как я не думаю, чтобы к этой версии Вы отнеслись иначе, чем я, то я ничего и не делал для установленья ее источников и уточненья ее самой. Положенье же кисти в этом случае прибавляет лишнюю жутко-волевую черту ко всему облику катастрофы.

Ах, Марина, Марина! Что бы я ни сказал Вам теперь, все это будет не лучше моих прошлых ответов, вызвавших наконец этот взрыв, которого я так давно ждал и боялся. Ваш отпор не только справедлив, но даже сильно смягчен и ослаблен, Вы щадили меня, нанося этот удар.

С чего начать, что сказать Вам? Я теряюсь от множества вещей, которые должны быть поняты и названы тут и тотчас же. Я теряюсь от радости, овладевающей мною, лишь только я с Вами заговариваю по-прежнему, хотя и теперешним только голосом, хотя и в ответ только на Ваш. Вы говорите мне, что я Вас потерял, а я радуюсь, потому что едва попытавшись что-то сказать Вам про боль, причиненную Вами, я уже слышу удесятеренный отзвук моих

слов, мыслимый только в обращеньи к Вам: это мое представление о Вас отзывается на них физически, как гулкость воли, – представленье о большой образцовой душе, которая не может не быть большим умом, знающим все и любящим свое знанье. Я буду писать это письмо долго. Я буду его прерывать: я боюсь подпасть инерции чувства, разбегу мысли. А тут надо писать с натуры. Речь идет о существующем, неотменимом. Я Вас не потерял, я Вас потерять не могу.

Было большою смелостью посылать Вам мои вахлацкие, безличные, ничего не значущие письма ради полученья Ваших, стоять перед Вами дуралей дуралеем, принимая Ваше «ты» и наполняя воздух нестерпимой глупостью своего обращенья. Неужели Вы думаете, что я не понимал, как может все это смотреть со стороны и чем должно тогда показаться? О нет, я видел Двенадцатую ночь и Чехова в роли Мальвольо, я читал Горе от ума и помню Молчалина. Но не думая о разительности такого возможного сходства, я нес по видимости равнодушный вздор, звал Вас на вы и, как захлороформированный, давал времени делать со мной все, что ему заблагорассудится, без всякой заботы на этот счет, владея навсегда и неотъемлемо образом, говорящим мне из Верст и Ваших юношеских книг. И опять этот тон: «образ», «говорящий из книг». Но Вы на выраженьях не задерживайтесь.

Многое я успел давно сказать Вам, остальное подсказало Вам чутье. Вы не могли не оценить с самого начала *природы* нашей связи. Вы о ней говорили и писали, я молчал. Я так свободно, без краски, без примеси неловкости этого касаюсь, потому что это не Мальвольо и не Молчалин, потому что я знаю, о чем говорю. Потому что это не человеческий роман, а толчки и соприкосновенья двух знаний, очутившихся вдвоем силой этого содрогающего родства. Теперь я не уверен, знаете ли Вы, о чем я говорю? Вот пример. Целую вечность я не слышал музыки. Сегодня случайно попал на симфонический концерт, посвященный Скрябину. Вы знаете, чем он был для меня. Я слушал, не настраиваясь, без аффекта преданности, с той неряшливостью, которая бросилась Вам в глаза в письмах, спокойный насчет однажды измеренной глубины, память которой при мне, без зависимости от воспоминанья. Может быть, я много потерял при таком слушаньи против той поры, когда жизнь воспринимал как лирическое стоянье на часах. Исполнялись вещи знакомые, когда-то заставлявшие меня сумасшествовать. Теперь многое прошло мимо ушей, многое показалось пустым и растянутым. Только было я стал думать о том, как нравственно беднеет человек, претерпевающий перемены, подобные происшедшей в последние годы со мной, как Бекман-Щербина заиграла h moll-ную (кажется) фантазию. И вот было место в этом удивительном сочинении, где сменявшие друг друга, теснившиеся и наслаивавшиеся нарастанья, неся на себе все большее и большее аккордовое бремя, вдруг, на ужасной гармонической высоте, смягчились, расплылись, задержались и, словно смерявши до самого дна достигнутую высоту и как бы оглянувшись назад, на мелодию, как оглядываются на прошлое, внезапно, покорившись влеченью накопленных звуков, оторвались и пошли расти дальше.

Это было неожиданное разрешение доли несоразмерно бóльшего напряженья, допущенное вскользь, наперекор теченью, и тут же оттертое в невыносимую, только искусству ведомую давность. Тут было то, что я люблю. Тут была частность, изобличающая род. Тут был прием, каких в музыке тысячи, но именно тот из них, в котором для меня все ее существо. Явленье это протекло во всей его неповрежденной целостности: то есть слезы у меня хлынули *именно те*, которые эта гармоническая непредвиденность видела когда-то на человеческом лице и с часа своего зарожденья навсегда в свое звуковое сверканье включила. Тут были Вы. Тут было мое отношенье к Вам, которое Вас не удовлетворяет и оставляет в недоуменьи. Тут было одно из начал таланта и то опять-таки, которое мне кажется всеобъемлющим и предельным. То, которое, выгоняя в высоту индивидуальность и тем неся ее прочь от человека, делает это во имя перспективы, для того чтобы озираться на него, стоящего позади в кругозоре, все более и более насыщающемся соками времени, смысла и жалости.

Одна поправка к сказанному необходима. В параллель с приведенным я ставил только Вас. Я говорил об этой искре в Вас одной. Я о себе не сказал тут ни слова. Себя я не знаю и не вижу. Содроганье родства, сказал я. Это я чувствую в том человеческом плане, где это чувство полагаю обязательным для всех и дарованным каждому. Если Вы его во всех вызывали, и в этой форме, я рад быть в их обществе и согласен с Вами, что и я оказался, как все. Вот Вам. Больше я ничего не прибавлю. Ничто на свете не заставит меня говорить не к месту и не ко времени. Потому что и время и место живые вещи, живые части нашей судьбы. «Здесь» и «теперь» не пустоты. Они живут и меняются. Я не хочу их умалять и обесценивать предугадываньем. Они больше и старше меня. Сейчас Вы и я живем порознь, живем с ними по трое. А Вы хотите меня слышать так, точно мы собрались вчетвером. Не от одной воли это зависит, в особенности сейчас, когда они во сто раз сильнее и одухотвореннее нас хотя бы одной своей неизвестностью и новизной, тем, что мы их лица толком не разглядели и не полюбили, тем, что они разные у Вас и у меня, там и тут. Эта противоестественность порождена нашей посредственностью и ленью, когда мы ее победим, они сольются, мы очутимся опять на родине, мы с ними породнимся.

Этим я живу, на это направлены мои усилья. Как-то я говорил Вам об историзме. Но тут не говорить надо, а дело делать. Об этом напишу Вам как-нибудь в другой раз. Несколько положений стали для меня руководящими. Наше время не вспышка стихии, не скифская сказка, не точка приложенья красной мифологии. Это глава истории русского общества, и прекрасная глава, непосредственно следующая за главами о декабристах, народовольцах и 905-м годе. Когда она осядет и просветлится в стиле, когда она оставит потомству свой собственный, она окажется выше и серьезнее нынешних стилизационных штампов. Кроме того, глава эта в мировой истории будет называться *социализмом*, безо всяких кавычек, и опять-таки, в этом значении звена более обширного ряда окажется богатой непредвосхитимым нравственным содержаньем, формировка которого, однако, прямо зависит от каждой отдельной попытки его предугадать. Вот по чем голодает, пока еще совсем у меня беззубый, глаз. И опять-таки в этой тоске по форме, которой наше время немилосердно лишено, есть, как и в мыслях о Вас и о Скрябине, постоянный у меня, частный и волнующий пункт. Это именно пункт совпаденья русской истории с мировой. Этим еще ничего не сказано, для эпигона Достоевского уже этого было бы достаточно, но схемы ведь только записи в долговой книге. Это надо увидеть и показать. Это должно быть чем-то подобным какому-то полуобороту земного шара, в котором он виден *не* весь и тогда только *весь* реален, или чем-то подобным улыбке на человеческом лице. Но о чем я пишу Вам! Вам ведь интересно совсем не это. Карточки Вашей я не отдам, как и вообще ничего. Спокойной ночи, я страшно с Вами заболтался. Не перепечатывайте меня. За гонорар спасибо. Здесь легче живется, чем у Вас. Никакого гонорара не надо. Свинство, что мы Вам ничего не шлем.

24 февраля 1926 г.

P.S. Как нехорошо Вы меня успокаиваете насчет души и Нью-Йорка, Есенина и Маяковского. Помните? Эти сентенции запрошены не мной, они идут мимо, к какому-то воображаемому истукану, каким никогда не был и не буду. Он должен быть затаенно-тщеславным, скрепя сердце и изнемогая от его лицемерья, его из жалости кормят карамелью. Неужели таким я стал представляться Вам? Тогда некстати распутывал я перед Вами путаницу моих отношений с Е<сениным>, не мной созданную, всесторонне оскорбительную, лежащую ниже того мира, в котором когда-то жил и когда-нибудь еще поживу.

Вы спрашиваете, что из сообщенного Вами не может помочь мне. Помните? Ну вот, Вы угадали. Да, конечно, именно та любовь (литерат<урной> молодежи), о которой Вы пишете. Во-первых, это чепуха, т. е. либо ее не существует вне Вашего доброжелательства, либо же, если она есть, то у нее *не может быть* должного наполненья. Потому что эта симпатия

разнесена по двум разным мирам, неполным и в своей неполноте неблагополучным. Это опять об истории.

Тем же сознаньем объясняется «тревога», с какой я ждал Ваших слов об отрывках 1905. Меня интересовала возможность жанра, в котором я не уверен. Сохраняю ли я то, чем хороши поэты, в ломке, производимой над собой, над одним из них, или достигаю обратной цели. Т. е. этот интерес шире и серьезнее предположенного Вами (и показанного незаслуженно карикатурно).

В заключенье простите за нескладность и длинноту письма. Я боюсь таких писем. Все равно никогда не высказать того, что за ними подымается. Слог же это недопустимый, его следует бегать. В основе таких поползновений всегда десяток противоречивых порывов. Письмо разгорячается, точно оно способно заклясть получателя и его вызвать и поставить перед тобой. Письмо вдается в лирику, точно оно это явленье переживает. В то же время, лишенное чудесного сопротивленья действительности, оно философствует, и его философствованью нет границы, которую ставит живая встреча. Напишите мне.

Ваш Б.

Письмо 37
<ок. 4 марта 1926 г.>
Пастернак – Цветаевой

Марина, бездоннодушевный друг мой, соседняя топка житейской котельной, под теми же парами, пиши мне на вы, умоляю тебя, нам не надо взрываться. Твое «ты» делает меня куклой, гипокритом, круглым лицемером неслыханного диаметра, а я ни кукла, ни гипокрит. Мое вы к тебе найдено как равновес, как стиль 1905-го, как единственная мыслимость среди немыслимых трудностей времени, с которым и в котором весь я, со всею серою гаммой повадок, с семьей, с характерами, вырастающими на *этой гамме*, по этой конституции. Ах, как это объяснить! Верь, верь, верь, верь, верь мне, это главное. И не возмущайся всеми этими «равновесами», «возможностями», «мыслимостями», которые всколыхнут тебя кажущимся отливом золотой середины. Неправда, неправда! Но в этой тянущейся грозе однообразья, которой захвачено начало века, разрушенье обессмыслилось, и я не слышу грозы в личной гибели, ни в причиненьи страданья другому. Я не боялся колоть Ваши руки мизерностью и сухостью своих отписок, потому что пасть Вашего духа знаю, как свою, и знал, что это пустяки, если только Вы не пожелаете прикинуть свою или мою повесть (безразлично) на общую болевую шкалу, градированную драматическими формулами. А Вы и не сделали и <не> сделаете этого. Вы не ломились в меня, это я в Вас первый с Верстами вломился. Вообще этот разговор – я или Вы – так некстати, такое житейское заимствованье, и тут же думаю о себе, что я во сто крат беспомощнее, потому что к письму от путаницы прихожу с чувством такого чего-то простого, чудесного, счастьеносного и понятного, и в письме, пока суд да дело, так все это затуманиваю попыткой показать эту простоту! Вот, ну что это за неразбериха! Пишите мне на вы, Марина! У меня столько веры в то, что динамит можно подарить бедным родственникам и что эту часть симфонии уже отстучали! Она называется эроикой ведь не только по обилью ударных, заполонивших первую часть! Скоро ей придется чистым содержаньем, настоящею музыкой оправдать свое названье. Тутто нам будет работа! Марина, мы будем неогегельянцами, какими были молодые Энгельс и Маркс, мы еще с Вами будем обрушиваться на коммунистов с упреками в малодушьи и пессимизме, мы или те из молодых, которым будем радоваться, как своей поросли, и которые будут жить и дружить с нами. Марина, Марина, это все я о Вас пишу. Марина, чтобы Вам стало ясно: когда недавно, совсем в последнее время, я оглянулся на цепь смертей, павших на эти годы, не смерть Блока, которого я боготворил, не Есенина, столь близко прикинувшаяся, что вырастает в виденье, не Брюсова, который меня любил и был коммунистом, но гибель Гумилева показалась мне катастрофической непоправимостью, злодейским промахом эпохи, самоубийственной ошибкой. Удивляйтесь, как хотите, но я чувствую и вижу, что проживи он до наших дней, он был бы человеком революции и эпохи, именно он, вызывавший в Блоке брезгливый отпор своим, забегавшим вперед, требованьем сжатой и собранной культуры. И опять тут всего ни объяснить, ни рассказать Вам. Но если Вас резануло слово «ошибка» по адресу человека, которого просто оплакиваешь и просто ужасаешься подлости, его прикончившей, последуйте за этим словом и за этим чувством и Вы поймете, как я все начинаю видеть и переживать. Мне хочется чувствовать через историю и за нее, и я не преувеличу, если назову это перерожденьем сердца.

Марина, Марина, Марина! Как я рад, что Вы так подробно написали про вечер. Я вслед за последним письмом хотел попросить Вас об этом. Лично, кровно радуюсь, кружусь с Вами и поздравляю. Все близко, все словно тут, как у нас, вплоть до вечного измышленья редакций насчет «непонятности»! Марина, берегите здоровье, цепляйтесь за жизнь, нам

много предстоит дела впереди! О схожести судеб, не только моей с Вами, но и Асеевской и Маяковской, расскажу друзьям.

Другое совпадение (как о вечере, в ответ на упущенную просьбу). О перепечатке Сельвинского. Хотел писать Вам о нем и опять упустил. (Чудесно и верно Вы меня определили, сказан об отборе червей, специально для Вас. Не боюсь признаться в верности подмеченной черты. Она так схвачена, что стало быть, знаете все остальное. Тогда не боюсь. О как люблю Вас!) Так вот, предупредили и это упущение и как раз в той связи, в какой хотел о нем говорить. Он очень талантлив. Смешно говорить о моей или Вашей современности. Современен только он. Т. е. только такой, в революцию зародившийся сплав эпики, эклектики и нового акмеизма плывет, голова в голову, с головою дня над мутью количества, и с ним ныряет, захлебывается и всплывает. И тут же утешительная поправка о современности: и однако, в порядке временных и хронологических напряжений, он, временно, позади нас. Т. е. он умеет раскаляться и сиять при более низких и бедных температурах, нежели мы. Он так талантлив, что не может не оказаться впоследствии лирической индивидуальностью. Между тем его сила теперь как раз в том, что он, как думают (и он сам в том числе), – не лирик. О нем как-нибудь в другой раз. Меня удивляет, как это Вы или Св<ятополк>-Мир<ский> его почувствовали с печатного. Его надо слышать. Прошлый год, всю зиму, его замечательно читал на память Асеев, куда бы ни пришел. Но о нем в другой раз. Марина, меня пугает и сделает несчастным в будущем и совершенно обескрылит, если Вы ее еще раз подтвердите (если за ней окажется смысл), Ваша приписка: «Смеюсь на себя за все эти годы назад с тобой. Как смеюсь!» О Марина, Марина. Для меня время не движется лишь относительно Вас и значит, «этих лет назад». Вы вправду хотите напомнить мне, как много тогда было и как не осталось ничего? Как же это случилось? Не говорите этой фразы, даже и про себя, и только!! Я не боюсь Вас, ни себя, ни времени, ни судьбы. Я не боюсь ни за смысл, связывающий нас, ни за его постоянное биенье, ни за его будущее. Но я пуще судьбы боюсь *этой Вашей фразы*, п.ч. знаю вес Ваших слов и то, как вся Вы в них окунаетесь, и вот Вы действительно пойдете «смеяться на себя за все эти годы», верная собственному слову, перестав слышать, что значит этот смех, и смеющаяся, и предмет насмешки. Умоляю Вас, пишите мне на «Вы» и перестаньте смеяться.

Простите за предшествующее письмо. Хотя и в нем, за нескладицей, много правды и, за огорченьем, постоянная нежность, вне которой я ни разу не слышал природы, ни разу с Вами не говорил. Не напоминайте мне про смех и про годы. Вот я сказал Вам какую-то глупую, по-стариковски трогательную чушь и уже сдерживаюсь, и уже готов повиснуть у Вас на шее, сотни раз отлитой в душе, сотни раз облёснутой языками радости, гордости, близости, преклоненья. Неужели Вы не знаете? Неужели, неужели. Но не надо, нельзя, не трогайте, прошу Вас, и не смейтесь. Давайте переписываться и без этих приписок. Хорошо?

<На полях:>

Я бы покривил душой, если бы умалил радость, вызванную Вашими словами о 1905 годе. Значит, я не ошибаюсь, и м.б. и во многом остальном. Встречаетесь ли Вы с Ильей Григорьевичем? Если да, то не говорите обо мне. Я ему написал очень жестокое письмо отн<осительно> его вещи и, вероятно, огорчил. Но что мне было делать.

Матерьялы о Есенине, верно, получены уже Вами.

Письмо 38
19 марта 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Прошлую неделю я мысленно переписал Вам множество писем, прожил несколько лет, сильно заскочив вперед, и сделал много такого же, бесследного и бесплодного. Вот как это случилось. В воскресенье вечером позвонила Ахматова, приехавшая в тот день из Петербурга, и через два часа зашла с Н.Н.Пуниным. Я ее не видал два года. Осенью она хворала и, слышно было, нуждалась. Теперь я нашел ее неожиданно помолодевшею. Она поправилась, и к ней вернулась та мраморная красота, которая так ее выражает, что даже стала частью ее имени. Когда я мысленно обратился к Вам с этим «вы́кающим» наблюденьем, мне дико было говорить «вы», сообщая эту радость. «Ты знаешь, Ахматова и т. д.». Так хотелось и делалось.

Дни были весенние, схватывавшиеся к вечеру морозцем, черной улицей, от фонаря к фонарю. Через два дня, таким именно вечером, взвинченно-чутким, когда чем редче звук, тем резче воспаляется ушная раковина дали, я пошел к ней, и мы говорили о ней, о тебе, о близких людях. Но это все были пустяки в сравненья с близостью, пахнувшей мне в лицо, когда, заговорив о Гумилеве, она, не замечая этого, свела речь к перечню заимствований и влияний, его объясняющих, часть которых установила в последнее время сама. Тут не было и следа Брюсовского или Ходасевичевского любованья предметом с кафедры. Как раз наоборот, тут была прелесть подчиненности классной атмосфере. Тут, болтая ногами, гимназистка обсуждала с гимназистом, что у них пройдено по географии, и разговор этот происходил в отсутствие тебя, сестры по парте, в… учебном заведении, усеянном звездами, к вечеру схватывающемся тонким черным ледком, от фонаря к фонарю. Все эти дни я говорил с тобой, строил теории и истоптался в оптимизме, т. е. ввел в походку всю стоптанность, заключенную в слове. Странно, что я не написал тебе тогда же, а выздоровевшую Ахматову, и, кажется, в тех же выраженьях, понес Эренбургу. Потом я получил твое письмо про то, каково твое ты. Оказывается, оно бунтарское, и тебе ты не говорят. Ей-богу, глупо было тут как раз со своим и сунуться. Тебе покажется, – из духа противоречья. Однако между твоим письмом и моей сегодняшней свободой нет связи. Ни даже бунтовской, супротивнической. Но это подавленное реченье вырвалось и потекло, став, как первоначально – школьным, чистым, детским. О порядках же учрежденья, о «наших нравах» напомнила мне именно она.

Теперь о Лондоне. Лет тринадцать или больше назад я бредил Англией и, служа воспитателем (гувернером, подумай!) в богатой немецкой купеческой семье, откладывал деньги для поездки в Лондон. Т. е. «гувернером» я заделался именно ради Лондона. Тогда (как вспомнишь, как это все было неумело, глупо!) я читал англичанке-учительнице за плату курс русской истории литературы, которую она очень любила, а я знал не больше, чем теперь. Однажды она мне прочла Эдг. По в оригинале. Восхищенью моему не было конца. И вот вместо того, чтобы принять ее предложенье обмениваться уроками, я из скаредности (так дорожил грошами) собственными силами в три месяца сроку и на такой же, конечно, срок изучил язык. Это все было в те времена, которые описаны в первых страницах Бытия, т. е. когда я служил молодым Гегелем в немецкой семье, читал свободно по-французски, когда Бобров переводил Рэмбо, ты выступала с Асей, взявшись за руки, и Асеев занимал на вечер манжеты у Анисимова для посещенья своб<одной> эстетики. Все это былье я заворошил нечаянно, узнав, что ты попадешь в Лондон. Именно, мне вспомнилась зима, когда я зачитывался Китсом и Суинберном, и даже, из строки в десятую, понимал, что делал. И, разумеется, в стихах рос и творился свой Лондон, которого наверное на свете нет, но именно в этот Лондон я пишу тебе. Помню, ледяной, утихомирившейся, расчистившейся ночью, перед

тем укатанной и обметенной вьюгой, – я жил тогда в Лебяжьем переулке, в канареечной клетке, окном выходившей на Кремль – представился мне он вот как. Там в тумане, тронутом морозною проседью, осязало себя время, и стрелки на Вестминстере и циферблаты других башен медленно, *как блюдца*, подвигались слева направо, по кругу английского алфавита, и били, попадая на иные буквы, и скрытый туманом, таинствами языка и недоступностью, дух Англии, как спирит, выросши над фиакрами и господствуя над Диккенсом, касался ободков кончиками пальцев. Стихов этих я теперь не помню, как и других той поры, и не знаю, где они. Теперь мне неясно, почему это Лондон, а не Мюнстер или не Флоренция. Но именно в пальцы кольнуло меня твое известие о путешествии, и от моего разговора с тобой, от слов, от платья, от усилия представить тебя там отделяется легкий треск. А сегодня ты пишешь, что какой потолок над тобой – неважно. Кроме того, это я забыл сказать – и тут все ассоциативные пружины наружу, ты поймешь, что твоей комнаты, твоего, наконец, «одиночества, – нет: единоличья» я никак иначе, как в Лебяжьем духе той своей комнаты вообразить не в силах, а стало быть, это: колдовское, леденящее, забывающееся вдохновенье тех лет. Мельком видел я его тогда, – и вот оно с тобою. Это предвиденье и пожеланье. Я хотел о многом написать тебе сегодня. И прежде всего я хотел ответить на два твои последние письма. Потом я хотел рассказать тебе о жене и ребенке, о перемене, произошедшей в эти годы со мной, и – в эти дни; о том, как ее не понимают; о том, как чиста моя совесть и как, захлебываясь тобою, я люблю Женю и болею, когда она не пьет рыбьего жира, ты знаешь, что есть края́ и края, ты изошла всю эту постройку и видела многое по-моему. Только тебе можно говорить правду, только по дороге к тебе она не попадает в соли и щелочи, разъедающие ее до лжи. Будь счастлива в Лондоне, как я счастлив сейчас с тобой, не жди никогда слов, побывавших в кислотах, ты все знаешь. И о предположенном, о том, что хотел, не расскажу. Не надо. Ты все знаешь, все, все. Спокойной ночи.

Твой Б.

<На полях:>

Отправляю не перечитывая. Не суди как ответ. Свое и твое. Ничего не сказал из того, о чем, думалось, напишу.

Письмо 39
25 марта 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно и я в нее верю, то можно бы молчать, предоставив все судьбе, такой головокружительно-незаслуженной, такой преданной. Но именно в этой мысли столько чувства к тебе, если не все оно целиком, что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, так *вполне*, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на бок, подвешивало за ноги вниз головой[26], я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным, мира, явленного тобой и мной. Мне не нравятся последние три слова. О мире дальше. Всего сразу не сказать. Тогда ты зачеркнешь и подставишь.

Что же я делаю, где ты меня увидишь висящим в воздухе вверх ногами?

Я четвертый вечер сую в пальто кусок мглисто-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная, без знаков препинанья. Но о чем речь, разве еще стол описывать, на котором лежала?

Ты мне напомнила о нашем боге, обо мне самом, о детстве, о той моей струне, которая склоняла меня всегда смотреть на роман как на *учебник* (ты понимаешь чего) и на лирику как на *этимологию* чувства (если ты про учебник не поняла).

Верно, верно. Именно так, именно *та* нить, которая сучится действительностью; именно то, что человек всегда *делает* и никогда не *видит*. *Так* должны шевелиться *губы* человеческого *гения*, этой твари, вышедшей из себя. Так, так именно, как в ведущих частях этой поэмы. С каким волненьем ее читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс подсказан. «Преувеличенно – преувеличенно, то есть. Но в час, когда поезд подан – вручающий. Коммерческими тайнами и бальным порошком. Значит не надо, значит не надо. Любовь это плоть и кровь. Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас. Расставание, расставаться?» (Ты понимаешь, я этими фразами целые страницы обозначаю, так что: «Я не более, чем животное, кем-то раненное в живот» уже упомянуто шахматами.) Верно, пропустил, поэма лежит справа, взглянуть и проверить, но не хочу, тут живое, со слуха, что все эти дни при мне, как «мое с неба свалившееся счастье», «родная», «удивительная», «Марина» или любой другой безотчетный звук, какой, засуча рукава, ты из кучи можешь достать с моего дна. А у людей так. После чтенья, моего, *такого* чтенья, – тишина, подчиненье, атмосфера, в которой и начинается это «купанье в бурю». Как же это делается? Иногда движеньем брови. Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно *ты* это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила. Потом, когда они перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положенья, бросить шепотом: «А? Каково! Какой человек большой!», чтобы сердце тут же заныряло, открытое в своей болтливости и при всех проговорках законспирированное от них породою, в раздвинутых тобою далях. Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина! Но о поэме больше ни слова, а то придется бросить тебя, бросить работу, бросить своих и, сев ко всем вам спиною, без конца писать об искусстве, о гениальности,

[26] Оттого-то я и проговариваюсь, и пишу. Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь, ты прямо с неба спущена ко мне, ты впору последним крайностям души, ты моя и всегда была моею, и вся моя жизнь – тобой. – *Приписка Б.Л. Пастернака*.

о никем никогда по-настоящему не обсужденном откровении объективности, о даре тождественности с миром, потому что в самый центр всех этих высот бьет твой прицел, как всякое истинное творенье. Только одно небольшое замечанье об одном выраженьи. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон, что в своем одинаковом отщепенстве, начавшемся с малых лет, мы с тобой не по-одинаковому отталкивались от последовательно царивших штампов. Слова артист и обьективность могли быть оставлены тобой в терминологии кругов, от которых ты бежала. Тогда ты в них только слышишь, что они – Сивцево-Вражечьи, прокурены, облиты вином и оставлены навсегда за ненужностью на той или другой гостеприимной лестнице. Я же их захватил с собой и об артистизме ничего не скажу, тут если не мое богословье, то целый том, не поднять. А об объективности вот что. Этим термином я обозначаю неуловимое, волшебное, редкое и в высочайшей степени известное тебе чувство. Вот оно в двух словах. Ты же, читая, прикинь на себя, припомни свое, помоги мне. Когда Пушкин сказал (ты знаешь это точнее, прости невежество и неточность): «а знаете, Татьяна моя собирается замуж», то в его времена это было, вероятно, новым, свежим выраженьем этого чувства. Захватывающая парадоксальность ощущенья была гениально скопирована высказанным парадоксом. Но именно этот-то парадокс и прокурен и облит вином на Сивцевом Вражке и издолблен в лепешку по гимназиям. Может быть только оттого парадоксальность объективности перевернулась в наши (мои и твои) дни на другой бок. Он менее парадоксален. Для выраженья того чувства, о кот<ором> я говорю, Пушкин должен был бы сказать не о Татьяне, а о поэме: «Знаете, я читал Онегина, как читал когда-то Байрона. Я не представляю себе, кто ее написал. *Как поэт он выше меня*». Субъективно то, что только *написано* тобой. Объективно то, что (из твоего) *читается* тобою или правится в гранках как написанное *чем-то* бóльшим, чем ты. Знаешь ты это, знаешь? Все равно, я знаю это о тебе. И опять больше, меньше, – тут не чины, не в этом моя объективность. Не в этом ее жалостная, роковая, убойная радостность. А в незаслуженном дареньи. Все упомянутое и занесенное, дорогое и памятное стоит, как поставили, и самоуправничает в жизненности, как его парадоксальная Татьяна, – но тут нельзя останавливаться и надо прибавить: *и ты вечно со всем этим*, там, среди этого всего, в этом Пражском притоне или на мосту, с которого бросаются матери с незаконнорожденными, и в их именно час. И этим именно ты больше себя: что ты там, в произведеньи, а не в авторстве. Потому что твоим гощеньем в произведеньи эмпирика поставлена на голову. Дни идут и не уходят и не сменяются. Ты одновременно в разных местах. Вечный этот мир весь начисто мгновенен (как в жизни только молния). Следовательно, его можно любить постоянно, как в жизни только – мгновенье. Нет признака, которого бы я не желал вложить в термин: откровенье объективности. Прямо непостижимо, до чего ты большой поэт! Болезненно близко и преждевременно подступило к горлу то, что будет у нас, и, кажется, скоро, потому что этим воздухом я дышу уже и сейчас. Mein grösstes Leben lebe ich mit dir[27]. Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованьем и уже и сейчас, поводив по своей жизни и рассказав про ее основанья, крылья, перистили и пр., показать тебе, где в ней начинаешься ты (очень рано, в шестилетнем возрасте!), где исчезаешь, возобновляешься (Мариной Цветаевой Верст), напоминаешь собственное основанье, насильно теснишься мною назад и вдруг, с соответствующими неожиданностями в других частях (*об этом в другом, следующем письме*), начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основанье и обещаешь завершить собою все, объявив – шестилетнюю странность лицом целого, душой зданья. Ты моя безусловность, ты, с головы до ног, горячий, воплощенный замысел, как и я, ты – невероятная награда мне за рожденье и блужданья и веру в Бога и обиды. Сестра моя жизнь была посвящена женщине. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. *Она вышла за другого.*

[27] Своей высшей жизнью я живу с тобой (*нем.*).

Вьюном можно бы продолжить: впоследствии я *тоже* <подчеркнуто дважды> *женился на другой*. Но я говорю с тобой. Ты знаешь, что жизнь, какая бы она ни была, всегда благороднее и выше таких либреттных формулировок. Стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне. Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему! Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер. Когда-нибудь, в иксовом поколении, и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружья. Поэтому в сценах – громкая роль отдана ей, я уступаю, жертвую, – *лицемерю* (!!), как, по-либреттному, чувствует и говорит она. Но об этом ни слова больше. Ни тебе, ни кому другому. Забота об этой жизни, мне кажется, *привита* той судьбе, которая дала тебя мне. Тут колошмати не будет, даже либреттной. Мои следующие письма будут скучны тебе, если ты не со мной сейчас и не знаешь, кто с кем и почему так переписывается. О Rilke, куске нашей жизни, о человеке, приглашающем нас с тобой в Альпы будущим летом – потом, в другом письме. А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть. Ведь это не ново, ведь это сказано уже где-то в письмах у меня к тебе, летом 24-го года, или м.б. весной, и м.б. уже и в 22–23-м. Зачем ты сказала мне, что я как все? Ты ломилась? Зачем ты так заносишься в униженьи? И униженье нарочитое, и заноситься не надо. Ты ломилась? Ты правда так думаешь? А я как раз в фатальных тонах все это воспринимаю *оттого только*, что такого счастья руками не сделать и вломом не достать. Ну куда б я мог вломиться, чтобы сделать тебя? Чтобы вызвать тебя на свет в один час со мною? Руки твои и свои я знаю, хорошие руки, но и воспоминанья стоят предо мной, и воображаются твои. Сколько сделано людей, сколько в отрочестве объявлено гениев, доверенных, друзей, единственных, сколько мистерий! Отчего их так много? Не оттого ли, что по детской глупости *работалось* постоянно одно, то именно «ты», которое оказалось налицо, и это одно поролось за работой, за гнилостью нитки, за гнилостью затеи. И вот вдруг ты, не созданная мною, врожденно тыкаемая каждым вздрогом, преувеличенно, то есть / Во весь рост. Что ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. А я, говоришь, как все? Значит ты создала меня, как их? Тогда за что ж ты не бросаешь меня и столько всего мне спускаешь? Нет, ты тоже не создавала меня и знаешь, насколько я твой.

Всю жизнь я быть хотел, как все,
Но век в своей красе
Сильнее моего нытья
И хочет быть, как я.

Это из «Высокой Болезни», которую я, за вычетом этого четверостишья, терпеть не могу.

Как удивительно, что ты – женщина. При твоем таланте это ведь такая случайность! И вот, за возможностью жить при Debordes-Valmore (какие редкие шансы в лотерее!) – возможность при тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье. Если ты еще не слышишь, что об этом чуде я и говорю тебе, то это даже лучше. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого что *этих поцелуев я никогда не видал*.

Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе еще. Спокойнее, как раньше.

Я боготворю тебя.

<На полях:>

Когда перечитываю письма, – ничего не понимаю. А ты? Какое-то семинарское удручающее однословье!

Письмо 40
27 марта 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Дорогая Марина, вспоминаю вчерашнее письмо с ужасом. Я хотел тебе дать понятье о своем счастьи, а написал тяжелую диссертацию об объективности. Опять, наверное, отобрал червей. И вот снова это начинается. Что ж, это законно. Жизнь на расстояньи – платонизм. Платонизм – философия. Вот почему, когда у меня часто бьется сердце по тебе, я философствую. Когда обыкновенно в жизни говорят мои друг, то это равносильно твоему «Дитя годовалое: “дай” и “мой”». Мое горе, мой тип, мой талант, мое воспоминанье, моя мать звучат иначе и значат другое. Так звучишь ты, мои друг, без эгоизма присвоенья и прихоти, целиком от рожденья погруженная в чистый и негромкий трагизм слова «мой», как типическая сила моей жизни, как моя особенная и единственная смерть. Я думаю, мне легче будет с тобой, чем было бы с Богом. Ты общая сила, а не частность, ты поэт и артист, все отвлеченья от случая сделаны тобой давно, девочкою, ты – самопреображенная, генерализировать жизнь за взглядом, за беседой с тобой не надо, тут чистый разговор, тут две повести самопреображенья поверяют себя друг на друге, тут счастье, которому равного нет, – такая ты большая, такая большая. Я предвосхищаю встречу с тобой как счастье *предельной простоты*, какой не бывает даже в детстве со своими, а только в детском одиночестве, когда самостоятельно построенная физика неведенья не взорвана непрошеным просвещеньем. Мы-то с тобой знаем (как мало людей наблюдает себя и жизнь в час этого детского взрыва), мы знаем, *что и просвещенье разлетается вдребезги* в общем взрыве. Потом строют из общих и смешанных обломков вторую физику, навсегда свою, зацементировав бессмертием. Нов и смешан матерьял, замысел стар и первозданен, как до взрыва.

В эту неделю я тебя не полюбил больше, такой возможности на свете нет, я только как-то свихнулся. Меня подцепило мной самим, мне казалось, что жизнь моя закатилась неведомо куда, поглощенная до неразличимости общей историей дня, лицом существованья. Моя тяга к истории, к современному эпосу была бессознательной тягою к названной утопленнице. И оказывается, эта загадочная личность жива, она отделена от меня расстояньем, временем, нищетою (ты не понимай последнее буквально, но для того чтобы все уладить, у меня денег пока нет), она далека еще, но о ней доходят вести, и я знаю, в каком направленьи к ней ползти. Тут я не о тебе только говорю, но и о себе и о многом.

Но вот опять растет диссертация. Поговорим о другом. Насчет «Крысолова» и всего, что у тебя есть нового, написанного за границей (за искл<ючением> Разлуки, Ремесла, Царь-Девицы и Молодца), произвел попытку, написал в Париж секретарю Раковского, Корнелию Зелинскому. Ты ведь страшная, ты что-то писала и говорила. Написал ему в форме лаконической просьбы, категорически и просто, установив уровень факта. Думаю, твое медузоподобье его не остановит и он к тебе зайдет. Тогда «Крысолова» и что найдешь еще нужным дай в двух-трех экземплярах, для показа, когда тут нужно будет. (Не на Арбате, там и без того любят, а в сердце времени, под пружиной, в царстве препятствий.) – Фома Аквинат на службе у романтики может быть хорошо, но существо мысли не устраняет ее относительной, историко-литературной формы. Ты не историко-литературна, ты не часть, не отрезок в калейдоскопе субъективностей. Я свои слова о тебе люблю больше. Ты объективна, ты главным образом талантлива, – гениальна.

Последнее слово зачеркни, пожалуйста. Его не должно быть в твоем лексиконе. В личном употреблении это галерочное, парикмахерское слово. Когда я с ним сталкивался мне становилось не по себе, как, вероятно, и тебе. Его когда-нибудь о тебе скажут или не ска-

жут. Все равно, не отрицательная гадательность шанса, а положительная загадочность слова висит всегда над тобой воздушною крышей, под которую, год за годом, ты выводишь свою физику. Важно то, чем ты занимаешься. Важно то, что ты строишь мир, венчающийся загадкой гениальности. В твои дни, при тебе, эта крыша растворена небом, живой синевой над городом, где ты живешь или который за писаньем физики воображаешь. В другие времена по этому покрытью будут ходить люди и будет земля других эпох. Почва городов подперта загаданной гениальностью других столетий. Она небесна в своем историческом происхожденьи. И опять диссертация! Как от этого отделаться! Но еще два слова о Фоме. Прошлый месяц я задумывал статью о поэзии, на примере нескольких поэтов. В предварительной росписи, что́ о ком, значится. Блок – дух времени, история, стиль, общество. Цветаева – талант, объективность. Гумилев – стихотворенье (борьба с субъективностью оружием культуры). Асеев – идея (дух содержанья, облик автора, Шиллеровская гуманность). Талант, артистизм, запущенная в самый характер бесконечность, владенье мигом, – вот ты по преимуществу. Никогда, впрочем, эти замыслы (это я о статье) не приводятся в исполненье. В статье о тебе, которую для «Русск<ого> Современника» писал некий Вильям, милый молодой философ, говорилось о тебе как о редком случае, когда, говоря о поэте, приходится говорить о поэзии. Ты именно не особенная, как не особенный и Рильке. Т. е. тут та предельная оригинальность, которая свойственна всей области, как ее принцип. Но довольно, опять диссертация. Диссертацией была и статья В<ильяма>, и ее ему вернули. Прости, прости. И тебе эта страница, верно, надоела и мне не нужна.

Ты с грустью говоришь, что мне о тебе нечего помнить и нечего от тебя ждать. (Лондонское письмо.) Не было за эти четыре года такого случая, когда бы эти слова были справедливы. Они безусловно абсурдны. Но они были относительно правдоподобны в тот день, когда ты еще их писала. Что же произошло? Вообрази отъезд человека. Его редкое, предельное волненье сплошь состоит из быстрых, утилитарных, целесообразных мыслей и действий. Он смотрит на часы, и у него бьется сердце. Он старается втиснуть в чемодан нужное и видит прошлое. Когда он несется на вокзал, воображая, что боится, как бы не опоздать, он на самом деле видит то, чего еще не может видеть: дорогу, место назначенья, будущий год. К чему эта проза? Чтобы напомнить тебе, что предел волненья и одурелости не Дон-Кихотство, а буря соображенья, пучок целесообразностей. Вот что происходит со мной сейчас.

Я многое понял из того, что знал. Я нашел имя тебе, и тому, чем был сам, и своей жизни и судьбе. И так как в эти дни такая именно толчея стоит у меня в голове, мыслей невпроворот, то тебе не надо прибавлять, что делается в сердце.

Я понял, что недооценил судьбы. И рад. Было бы хуже, если бы я переоценил ее. Я не знал, что она так угрюма и меланхолична оттого, *что такая счастливая*. Недооценив ее, я подавил в себе ребенка и поэта. Этим я стал заниматься с 19 года. Мне это так быстро не далось, как другим, сильнейшим (Маяковскому напр<имер>). Мне стало удаваться это только последний год (Спекторский, 1905 год, историзм, породненье с общественностью, Пастернак стал понятен, борьба с тобой, ответы на твои письма). Теперь я понял, что старая дорога свободна, что мне *не обязательно* находиться в детской времени, с лепетом, общественнической погремушкой, понятностью и пр. и пр. Однако эту льготу надо было увидать в судьбе. В личную прихоть я не верю, я не ницшеанец, не эстет, не сверхчеловек. Но судьба это зелень, лето, правда тепла, правда породы, замысел ботаника. С души воротило, я верил времени, что эту касторку надо пить, шесть лет оттягивал, наконец решился, стал готовить кофе с лимоном (1905 г.), вдруг входит огромная удивительная судьба, как мать, и говорит, что эту дрянь надо вышвырнуть в окошко. Надо было прочесть Поэму Конца, чтобы увидать, что большая поэзия жива, что, против ожиданья, можно жить. К Поэме Конца присоединился еще один факт, тоже родом из большой поэзии. О нем после.

Когда летом 1917 г. ко мне в Нащокинский пришел знакомиться И.Г.Эренбург, то сделал он это по совету Брюсова. У нас ничего не вышло. Мне некоторые его стихи понравились, я же ему был совершенно чужд. Первого же моего ответа на его вопрос о том, кого или что я люблю, он совершенно не понял. Я сказал: больше всего на свете я люблю проявленье таланта. Он ответил, что именно этого-то он и не любит, и из слов его я понял, что ему представляется, будто он наткнулся на эстета и разубеждает его. Существо «Сестры моей жизни», главные стихи были тогда уже написаны. Я всех чуждался, я знал, что́ это такое, но лето было заряжено такой непомерной чувствительностью, я так любил в каждой грозе, в каждой уклончивости моей знакомой, в каждой внезапной поездке к ней в Балашовский уезд проявленье таланта, что замыкался единственной силой этого тока. К Цейтлиным я попал после конца, после «Разрыва». Я не знал, кто рядом со мной. Я не знал, что рядом со мной сидит то, что я еще тогда любил больше всего на свете, то именно, чем я отшатнул И.Г. И чудесно, что я еще тогда этого не знал. Тогда было невозможно, тогда все было бы погублено. После этих дат или годом позже я повел не свой, насильственный, педагогический образ жизни. Я стал рвать со всем прирожденным во мне, стал учиться людскости, равнодушью. Я совершенным дураком поехал за границу в 1922 г. Уезжая туда, я смутно искал именно того, что сейчас на меня валится. – Вот смысл восьмилетья.

Мне придется продолжать 1905 г. и книжку закончить. Тут я хотел о планах несколько слов. Но вот что. В искаженьи, понесенном жизнью за эти 8 лет, я никому никогда не лгал. Я сдержу перед всеми слова, данные за этот срок. Я не умею писать письма. Но ты знаешь все. Больше тебе писать так я не буду. Рамка чуждости и наговора ложится тогда на семью. А я бы умер с тоски, если бы мне сказали, что двое этих людей из целей превратились <в> средства и что жертвами сделал их я. И пойми, что это не от тебя, не от твоего ты, не от твоих писем, а от потрясения, от того, что́ во мне. Оттого, что я понял, что больше всего на свете люблю проявленье таланта.

Нынешним летом я хочу отправить жену и ребенка за границу к сестре (Мюнхен). Я не поеду. Я надеюсь вырваться через год, и разумеется к тебе и с тобой к Рильке. Давай опять переписываться по-старому. Прости за двойственность и если думаешь, как все, что лицемер, то порви со мной.

Письмо 41
<ок. 27 марта 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис. А пока вы с Ахматовой говорили обо мне в Москве, я в Лондоне говорила с эстрады тебя и Ахматову. Последовательностью Ахматова, Гумилев, Блок – Мандельштам, Есенин. Пастернак, я. Маяковского за недохв<атом> глотки не говорила, сказала стихи к нему. Слушали меня – но этих имен писать не должно. Достаточно будет сказать тебе, что моим лучшим слушателям запрещено было прийти. Борюшка, сообрази. Из того, что прочла стих к Маяковскому, выведи, кто были слушатели.

Больше всего – странно – дошел Есенин. (Ореол ли сканд<ала> – Айседоры – смерти?) Слушали изумленно и – благоговейно. В воздухе: что же нам говорили??? Вроде откровения. Невинно. Трогательно.

В Лондоне увид<ела> приблизительно всех уцелевших, близких родственников. *Необычайный зал*. В воздухе была доброта, оттяжка <вариант: отпуск> струны, доверие. Я знала <оборвано>

* * *

Лондон. Посылаю тебе – бандеролью – старинный Лондон до пожара. Эт<от> не тот. Не твой. Первое мое впечатление – никто не пони<мает>! – изумл<ение>, что дома из кирпич<ей>, улицы из домов, Лондон из улиц. Город распад<ался> на моих глазах. Я ничего не *узнавала*. Мой Лондон был загиб улицы и фонарь. И весь кругом – сизый как слива. (М.б. созвучие с *голубь*?) Кстати, голуби есть, – много, у Вестминстерского аббатства.

То же самое, как стих, который знаешь с голосу (поворот голоса тут правее, тут левее), вдруг увид<еть> напечатанным. Буквы – строчки – строфы – Где же *стих*? (Оно.)

Потом опять восстанов<ился>. У меня благородная (неблагодарная) память. Я, пожалуй, и смотрю-то, чтобы забыть (выделить).

* * *

Голуби. – Лебяжий. – Тот <*нрзбр*.> конечно. А твоя канареечная клетка в Лебяжьем, конечно, лондонская моя (9, Tow<er> Sq<uare>!)

Теперь я уехала <оборвано>

* * *

Кстати, нас с тобой на громком диспуте вместе ругали. Белиберда, вроде Пастернака и Цветаевой. Мы за границей до смешного ходим в паре. У всех на устах.

Борис, только твою современность мне я признаю.

* * *

Я бы с тобой совсем не умела жить. Я бы тебя жалела на *жизнь* – даже с собой! А м.б. – именно с собой, п.ч. я дома не живу. Что бы мы делали?! Я бы не хотела обедать с тобой. (Ужинать – да.) Я бы не хотела, сидя с тобой, есть сладкое. Я бы не хотела, ничего не хотела

от тебя, что не последний – ты. Я бы не хотела, чтобы ты входил в комнату, п.ч. ты в ней живешь. П.ч. *я* в ней живу. Но одного бы я от тебя хотела – до такой <оборвано>

Страсть, что и сейчас, даже по стар<ому> следу мысли (мечты) у меня <оборвано>

*** * ***

В Россию никогда не вернусь. Просто п.ч. такой страны нет. Мне некуда возвращаться. Не могу возвр<ащаться> в *букву*, смысла которой не понимаю (объясняют и забываю).

Письмо 42
3 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Мне пришло в голову и со всей абсолютной искренностью спешу тебе это сказать, как умнице и большому человеку. Мои последние письма ни к чему решительно не должны склонять тебя. Они тебя не связывают ответом. Я не жду его. Это должно тебе быть известно вот зачем. Наверное ты работаешь, у тебя есть планы, и, при всей неизвестности, время тобой уже предупреждено целиком и оформлено наперед предвосхищением себя самой за работой. Так вот, непредвиденность моих писем не должна нарушать твоей формы, и ты не была бы той, которой я писал, если бы это случилось. Но ты окончательно не была бы собой, если бы поняла меня так, что я пекусь как-то, где-то о твоем – — отношеньи ко мне, о его непроизвольности.

Если б не дурная форма моих писем, они бы не нуждались в этом торопливом и запоздалом добавлении. Но они в нем нуждаются. Именно этим они и плохи.

Я боюсь, что в них есть принужденье к отклику, что они приглашают к соответствию и что за их чтеньем может показаться, что на них надо ответить, и даже может представиться, чем. Неужели они до такой степени отвратительны?

Когда это происходит с людьми случайного и с неба валящегося типа, то такое подчинение предъявленному чувству подымает их и облагораживает. Тебе же, живому источнику формы, со своим особым строем *душевно допущенной* случайности – это просто вредно и опасно. В конце концов это прилив именно той неискоренимой жалости, за которую нас не без поверхностного правдоподобья зовут лицемерами, не зная, как это щепящее нас самопожертвованье чисто. Итак, не отвечай мне, пиши Цветаевские письма о себе и о деле, думай вслух по своей линии или вовсе не пиши, если тебе теперь не до того. Если эта просьба застанет тебя за работой, ты ее поймешь; если нет, она обдаст тебя холодом.

Теперь о деле. Ответь, пожалуйста, на прилагаемую анкету. Воображаю, что ты переживешь при взгляде на этот анемично-водянистый, анилиново-отсутствующий опросник, живое воплощенье советской барышни, страдательного винта в перетершемся механизме, восходящем к Ржевскому, к дровам и пшену, – истлевающий оттиск истлевшей бабочки, не дающей и отдаленного понятья о гусенице-прародительнице! – Писать о тебе будет Д.С.Усов, тебя очень любящий. Он и обо мне пишет, и о Блоке, и об Ахматовой, и не помню еще о ком. Сведенья давай в какой угодно пропорции, т. е. если ты в ударе и это тебя ни от чего не оторвет, воспользуйся после многих отклоненных случаев этим вновь представляющимся написать автобиографию, если же это не в твоем плане сейчас, отвечай коротко и только на что захочешь. Мне, при устном опросе, он изобразил работу составителей как нечто до крайности упрощенное. Это будет, по его словам, сборник сухих справок, воздерживающийся от характеристик, философствованья и оценок. Но м. б. он боялся приступа откровенности у меня и наклеветал на словарь из страха многословья? Не знаю. Во всяком случае отвечай, как хочешь, но ответом не задерживайся, он ему нужен через две недели. Пришли по моему адресу, так он предложил. Еще что-то хотел сказать. Да, Потемкина, если по-твоему сто́ит, перепечатайте, – он уже напечатан. Гапон (Мне 14 лет), конечно, лучше, но он еще не появлялся в печати, хотя запродан с осени. А без Гапона, боюсь, Потемкин – басня. Только не перепечатывайте старья, вроде Матроса и пр.

Да, о главном забыл. Изд<ательс>тво «Новая Москва» выпустило антологию поэтов XX в. по принципу составленья хрестоматий, т. е. составители, Ежов и Шамурин, собрали огромный том из безвозмездных перепечаток. Издательство не только не задумалось о доле

гонорара перепечатываемым, но даже не сочло нужным послать им вышедшую книгу. Она стоит 15 руб<лей> и, разумеется, никому из нас не доступна. Я ее в глаза не видал. Кириллов и Герасимов подали на «Нов<ую> Мос<кву>» в суд и выиграли процесс. Суд присудил изд<ательс>тво к выплате гонорара по 50 к<опеек> за перепечатан<ную> строчку. Основываясь на этом прецеденте, новый, полноправный профсоюз писателей (секция работн<иков> просвещенья) собирается доправлять по каждому внесенному заявленью следуемое заявителю. Тебе выходит сумма около 90 руб<лей>. Ты сделай вот что. Пришли Асе доверенность на полученье следуемых тебе с «Нов<ой> Москвы» денег за перепечатку и т. д. и т. д. Я в эти деньги не особенно верю. Но доверенность Асе пришли. Она удивляется, что от тебя нет писем.

<На полях:>

Заходил ли к тебе Зелинский? О себе, о работах и пр. напишу вскорости. Это не письмо. Это сопроводитель сов<етской> барышни. Как тебе работается?

Приложение

Государственная Академия Художественных Наук

В январе-феврале 1925 года Отделом Изучения Революционного Искусства при Государственной Академии Художественных Наук была проведена выставка революционной литературы России за 1905–1925 гг. Весь материал с выставки поступил для проработки в организованный при отделе кабинет революционной литературы. Одной из первоочередных работ своих кабинет наметил составление биобиблиографического словаря писателей 20го века и приступил в настоящее время к собиранию материала для этой работы. Желая иметь данные наиболее точные и полные, которые можно получить лишь из первоисточников, кабинет обращается ко всем писателям с просьбой присылать свои автобиографии; не связывая никого ни формой изложения, ни размерами, кабинет просит дать исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

1. Фамилия (псевдоним), имя, отчество. 2. Адрес. 3. Место и точная дата рождения. 4. Социальное происхождение. 5. Краткие биографические данные: а) среда, б) влияние детских лет, в) материальные условия работы, г) путешествия, д) эволюция творчества. 6. Общее и специальное образование. 7. Основная специальность. 8. Литературная, научная, общественная деятельность. 9. Первое выступление в печати. 10. Первый отзыв. 11. Литературные влияния. 12. Любимые писатели. 13. В каких периодических изданиях и сборниках участвовали. 14. Принадлежность к литературной организации. 15. Хронологический перечень работы. 16. Библиография о творчестве.

Москва, ул. Кропоткина, 32, Государственная Академия Художественных Наук, Кабинет революционной литературы.

Письмо 43
4 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Вырывается. Пишу во всей рискованности (отрывистости). О как я люблю тебя! Так просто, так соответственно так, как ты меня, так вот. Вот я, вот Цветаева, вот моя работа, вот ее, вот мой порыв к ней, вот ее пониманье, вот ее диапазон, обнимающий как раз столько, сколько надо, чтобы спутать с самим собой, вот ее душа вынута из тела, вот моя (и мои времена и я в других людях и государствах), и вот она с ней, и не стыдно, а как раздеты! Я так люблю тебя, что даже небрежен и равнодушен, ты такая своя, точно была всегда моей сестрой, и первой любовью, и женой, и матерью, и всем тем, чем была для меня женщина. Ты та женщина.

Сейчас от младшей сестры из Берлина вырезка из нем<ецкой> газеты, статья какого-то проф<ессора> Diederichs'a, и копия письма Rilke к отцу со словами обо мне, и в ответ на эту любовь – благодарность тебе и слова, о как я люблю ее, Марину, охватывающую: и младшую сестру, и мать, и горизонт, и все, что случится, *знающую все так, как надо знать, как, мне кажется, надо знать.* И пусть они все существуют, милые, отдельные, сыгравшие свою роль в этой, под тебя глядящей жизни, пусть живут дальше и продолжают играть свою роль, и будем ласковы к ним отдельным, будем печься об их здоровье, желать им успеха и их любить, моя вся, моя общая, моя, как жизнь, умная, одухотворенная, умелая! Обнимаю и целую, как обнимают такое.

Послать так? Или записать листок? Тогда это два письма. Первое тут кончается. Больше нечего сказать. Мое счастье матерьяльно: оно в лицах, в случайностях, в стихах (только одна поправка: в таких, как были когда-то, о не в «1905»! – и какие будут), *в смене* антипатических и симпатических небес (слышишь: *в смене*, одни бы симпатические не дышали), в ворочаньи родины с боку на бок, то спиной, то лицом к тебе, в бесприкрасной, в пиджаке и с начинающейся проседью, деятельности, – мое счастье с провиденьем матерьяльно, мое счастье с тобой не одно духовидчество, мы где-то что-то с тобой уже делаем. Надо доехать. Не попрекай меня «инословьем». Не лови на метафоре! Ты – на метафоре?! Половина метафор сбылась. Я их знаю. Я знаю, как они дышат и как, призраками глядевшись в окна, людьми входят потом в дом. Я не зря не еду тотчас на запад. Но к чему я все это говорю, ты ведь знаешь. Это не два письма, а одно. Как твой Есенин? Долгое, подробное признанье со страшным концом о том, как я был с ним связан, сделаю тебе при встрече. Это была символическая драма. Теперь не до нее, да и это в глаза надо смотреть, когда рассказывать. Теперь не до нее, судьба ее доиграла. В момент, когда я на людях в кино, на постановке «Потемкина» (совпаденье до точности с моей трактовкой) узнал о его самоубийстве, ужаснулся, и самое ужасное признанье вырвалось вслух. Третьяков сказал «на том свете сочтетесь». Нет. Я его больше не увижу никогда. Те светы у нас будут разные. Дай мне руку на весь тот свет.

<На полях:>

Спасибо за гравюры Холлара. Это, верно, в ответ на «спиритическое письмо»? Большое спасибо. Не пиши мне, работай. На адресе твоя рука, и сл<ава> Богу.

Письмо 44
<ок. 6 апреля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борис. Я только что вернулась из Вандеи <над строкой: с моей родины>, где была 3 дня и куда 15го еду на полгода. Поэтому, читая твое вниз головой, вернулась домой, – нет, просто оказалось, что я домой (в Париж) еще не приезжала, не выезжала, что всё еще перед неуловимой линией прилива (океан). Борис, я люблю горы, преодоление, *фабулу* в природе, становление, а не сост<ояние>. Океан я – т<ы> буд<ешь> сме<яться> <оборвано>. Становление одновременно себя и горы. Гора растет под ногой, из-под ноги. Ясно?

Океан на полгода – для сына, для Али, для С.Я. – мой подарок, а еще Борис, ты не будешь смеяться, из-за твоих строк:

Приедается всё —

Если ты сказал, – ты знаешь, и это действительно так. Я буду учиться морю. Ссылаю себя, Борис, в учение. Дюны, огромный (a perte de vue <над строкой: l'infini[28], так в п<оэ>ме), плаж – и *ОНО*. (Не море, а вообще оно, неведомое.) Ни деревца. Две пустыни. Домик у рыбаков: 67-летняя старуха и рыбак старик – 74 лет. Никого знакомых. Тетради, рыба.

Я, Борис, с Лондона – нет, раньше! – отодвинь до какого хочешь дня – с тобой не расстаюсь, пишу и дышу в тебя. У меня в Вандее была огромная постель – я такой не видывала, и я, ложась, подумала: С Борисом это была бы не 2-спальная кровать, а душа. Я бы просто спала в душе.

Вандея (проехала ее всю) зеленая, луговые квадраты, лугов<ые> и <*нрзбр.*>. Где преслов<утые> talus[29]? Ни следа. Или Наполеон в 15 г. велел сбрить? Сирот<ская> стр<ана>, где только кап<каны> для кроликов. Я почти что плакала.

Мое местечко рыбацкий поселок St. Gilles sur Vie (это река – Vie). В колок<ольне> был убит наполеоновский генерал Grosbois, наблюдавший движение войск. А в 7 километрах на ферме Матье крест – памятник Ларош-Жакелену, убитому в 1815 г. Женщины в бел<ых> башенках и деревянных, без задк<ов>, башмачках. Народ изысканно-вежливый. Старинные обороты: «Couvrez-Vous donc, Monsieur»[30] (как когда-то корол<ю> – принц<есса> крови).

Это не география, это ландшафт моей души на полгода вперед.

* * *

Борюшка, на днях в Москву едет И.Г.Эренбург. Передаю ему / с ним: Поэму горы <над строкой: конца> (со знаками препинания), Поэму конца (рукоп<ись>), Крысолова, статью о Брюсове, статью о критике и всё, что еще успею. И, если Эренбург согласится повезти, подарки тебе и сыну. Не сердись! В этом нет грубости, одна нежность, беспомощная и хват<ающаяся> за шерсть фуфайки. Она у тебя будет почти животное, всё равно как если бы я тебе пос<лала> собаку.

Ах да, и еще фотографии, наст<оящие>, давно хочу, – одну тебе (надпишу), одну Асе. Только не держи на виду, такие вещи не лгут только в первый раз.

---

[28] необозримый, бесконечный (*фр.*).

[29] склоны (*фр.*).

[30] «Прикройте себя (наденьте головной убор), сударь» (*фр.*).

<Приписка сбоку:> NB! Знаки препинания.

* * *

Ты мне сделал больно своими письмами. Безнаказанно такое не читают. Отвечу тебе одним. У меня есть <пропуск одного слова> – одна за жизнь, ее сожгут вместе со мною (п.ч. меня сожгут, зарывать себя не дам!). Когда я тебя увижу, я отдам ее тебе. Больше у меня ничего нет.

* * *

«Поэма конца», которая *вся* на паузе, без знаков препинания! Ирония или Kraftsprobe[31]? И то, что ты полюбил ее *такой*, с опечатками (важен каждый слог!), без единого знака (только они и важны!) – зачем, Борис, говорить мне о писавшем, я *читавшего* слышу в каждой строке твоего письма. То, что ты прочел ее – вот ЧУДО. Написал во второй раз по (все-таки – чужому) и какому сбитому! следу. Ты как собака почуял мой след среди путаницы. (Словари разные. Да. И в этом неистовая прелесть встречи.)

Пленит<ельно> то, что дошла она до тебя *сама*, опередив мое (ныне сбывающееся) желание. Вещи не ждут, этим они чудесны, чудеснее нас. Помнишь у тебя?

Но вещи рвут с себя личину…

О, подожди, Борис, в свой час напишу о тебе как никто. Прочти Святополка-Мирского (посылаю) – прав он? Не знаю. Я не знаю Канта. Я только страдаю от Бергсона (тоже не знаю) у меня и Канта у тебя. Вообще, *это* запомни: ты моя единственная проверка: слуха, *старшего* моего. (Я *громче* слышу, ты <пропуск одного слова>.) Не п.ч. я тебя люблю, я в тебя верю, а кажется обратн<о>. Люблю (ужасающее) потрясающее пустот<ой> и ужасающее вместим<остью>, растяжим<остью> слово, я все слова люблю, кроме него. У него только одна сила – молниеносная (несущая молнию и молнию длящаяся) убедительность, бесспорность, кратчайший путь в другого (в любого). «Люблю» просто условный знак, за которым НИЧЕГО. Ты меня понимаешь? И я вовсе не говорю его тебе, то, что у меня к тебе, очень *точно*, сплошь доказуемо и только тем страшно, что впереди не замкнуто. Отвеч<аю> за каждую сущую секунду, восприним<аю> ее топографич<ески> ясно <над строкой: и даль<ше> не зн<аю>>. Дорога в горах, без перспективы, и дорога, ведущая выше горы. Ясно? Твое – море, мое – горы. Давай поделим и отсюда будем смотреть. Я буду учиться морю со всей честностью и точностью, п.ч. это – учиться тебе. И в тебя я еду на поиски, а не в Вандею.

<Приписка сбоку:> Ясновид<енье> каждой отдельной секунды.

* * *

Единственное, что бы мне меш<ало>, если бы / – / —, это то, что он – *мой*. (И мой.)

[31] испытание силы (*нем.*).

* * *

Ты пишешь, что я что-то читала. То же, что в Советской России, давнее, здесь об этом не напис<ала> ни одного стиха. А читала, п.ч. нужно было ради одного какого-нибудь <оборвано>

Продолжение

Если бы я умерла, я бы дов<ерила> тебе написать то, чего я не успела, просто дала бы точные слуховые указания и словарь. Ты бы написал свое, но ты бы написал меня. У нас разный словарь – как это восхитительно.

Ты, как я, родился – завтра.

(Точно вчера родился – ложь. Точно завтра родился.)

* * *

У меня есть слезы, и Поэма конца только п.ч. мне их моих было мало, – выкрич<аться> и выплак<аться>. А еще – чтобы не захлебнуться в них, не кинуться с моста.

* * *

Ты знаешь, Лондон – наш город, беспризорных бродяг. Видела их ночные места.

* * *

Дай мои стихи без имени, – я хочу, чтобы их знали – кто знает, догадается. Ведь это, по существу, безымянно.

* * *

«Меня любили только част<ично>» – Борис, когда меня в жизни любили, я мучалась, меня точно зарывали в землю, сначала по щиколотку, потом по колено, потом по грудь (начинала задыхаться). Меня изымали из всего мира и загоняли в ямку, жаркую как баня. Я с остр<ой> подозр<ительностью> выслеживала этот момент изъятия. Человек переставал говорить, только глядел, переставал глядеть, только дышал, переставал дышать, только целовал. И целовал не меня, п.ч. меня уже забыл, а губы, вовлекаясь в процесс (пог<аное> слово!). Вовлекалась иногда и я. Словом, губы целовали губы и хотели целовать день и ночь. Я быстро уставала, убитая однообразием. Еще о любви <оборвано>

Письмо 45
<ок. 9 апреля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Борюшка! Вот тебе примета. Письма к тебе (вот и это письмо) я всегда пишу в тетрадь, на лету, как черновик стихов. Только беловик никогда не удается, два черновика, один тебе, другой мне. Ты и стихи (работа) у меня нераздельны. Мне не нужно выходить из стихов, чтобы писать тебе, я в тебе пишу. Это я в ответ на твою оглядку, от которой мне человечески-больно. (От тех двух божественно-больно!) Борюшка, у нас с тобой ничего нет (не буду перечислять, раз ничего!) – кроме *наверняка*. Я наверняка била в тебя все эти годы, – видишь возникновение правды под пером! – не *билась*, била. Как в заочную птицу на лету – в твою душу. И попадала, п.ч. эта птица – всюду, нет места, где ее нет.

Отвечать на письм<о>. Я не знаю что это значит. Я знаю отзываться, отзвучивать, возвращать тебе – утысячеренно – твое же <вариант: тебя же>. Кому ты пишешь? Вспомни. Тому, кто с первой строки «Сестры моей Жизни» (всё чудо, что она ко мне попала, только в этом! остальное все было готово) не отрываясь – через всех и вся – (ибо были и все и вся!) – безнадежно, п.ч. безукоризненно-*вежлив* и верит на́ слово – глагола не проставл<яю>, п.ч. самый пустой из всех. Не выходя из себя, люб<ить> другого, не выходя из стихов, люб<ить> человека. (Тут невязка, п.ч. вся я – выхождение из себя.)

О безукоризненной вежливости же – вспомни Блока и Маяковского, обоих, кого бы я могла любить (теперь нет). От Блока я стояла меньше чем в 2 вершках, толпа теснила, – рядом. 1921 г., а в 16 я написала: И по имени не окликну, и руками не потянусь. И не потянулась. А он умер. А с Маяковским – раннее утро на Б.Лубянке <над строкой: Кузнецком>, громовой оклик: Цветаева! Я уезж<ала> за границу – ты думаешь, мне не захотелось сейчас, в 6 часов утра, *на улице*, без свидетелей, кинуться этому огромному человеку на грудь и проститься с Россией? Не кинулась, п.ч. знала, что Лиля Брик и не знаю что еще… (Вломиться головой в грудь.)

Борис, раз ты не звал, я тоже не звала эти годы. Раз ты не называл, я тоже не называла. Я все-таки женщина и трагически хорошо воспитана. (Только в 1926 г., после лондонской знати поняла: я получила не интеллиг<ентское>, а аристократическое воспитание – дуновение рано умершей матери. Отсюда, от нее, ненависть к буржуазии и полупрезрение – не без добр<одушия> – к интеллигенции, к которой *никогда* себя не причисля<ла>! Как, один в Москве мне сказал: феодальный строй. Ворот уж нет, герб держится.) Так во́т – для чего я все это пишу: чтобы ты знал, что пиша мне, ты пишешь в себя, просто дыша – дышишь в меня. И раз навсегда, хоть бы я завтра умерла, хоть бы жила сто лет. Не пониж<ая>, не повыш<ая>, вне становления или в становлении, ставшем состоянием, так же, как *душа растет*. Вот я – к тебе <оборвано>

Еще – трудная просьба, но пойми – не выводи меня из Аси. Я была задумана с братом, но без сестры. Не пойми неправильно, но не отождествляй. И не говори с ней обо мне, не вводи, не выводи. Москва, нет – Россия для меня только – ты. Двух «там» быть не может. Я целиком в тебе. Моя Россия. Когда я говорю Москва, я молн<иеносно> говорю: Пастернак. До всего, что не ты (вне поля твоего зрения и предвид<ения>), мне в России дела нет. Ты мой слух и мое зрение в России. Поскольку будет расширяться их поле – будет расширяться и мое. Это не слепость любви говорит, доверяю тебе *мой* слух и *мое* зрение. Увидь и услышь за меня.

* * *

Можно о достоверностях?

Из Парижа после Лондона третье письмо. Дошли ли виды старинного Лондона? 20го или возле уезжает Илья Григорьевич. Посылаю с ним Крысолова, Поэму горы, Поэму конца (без опечаток), Брюсова, Поэт<а> о критике и вещи тебе и сыну. О последнем я думала, – м.б. твоей жене будет противно видеть на нем нечто причастное моим рукам? Но соблазн сильнее – прости меня! – посылаю. Просто мальчику, за жизнью которого слежу. Можно ведь? И похож ведь – чем-нибудь – на тебя?

Достоверность важнейшая: если ты *по-настоящему* хочешь будущим (1927 г.) летом сюда, я тебе помогу, с помощью человека, обожающего твои стихи. Устроим вечера – в Париже и в Лондоне. У меня друзья музыканты (именны́е), их пригласим. Не фантазия. Напиши – ну расщедрись на *цифру*! – сколько нужно на выезд (паспорт, билет, дорогу). Жить устроим, все будет устроено. Поедем вместе в Лондон. Одному трудно продерж<аться> вечер, возьми меня на выручку, меня любят. Стихи буду читать *новые*, в паре <вариант: в масть>. А что обо мне в Москве говорят – не верь. Читала старый (1917 г. – 1922 г.) Лебединый Стан, который читала и в России. Никаких выступлений, политикой не занимаюсь, правыми брезгую и у них не печатаюсь. Я тебя не скомпрометирую, будь спокоен, знаю, что делаю.

Борис, ты ответь. Не к спеху – но ответь. Дай мне радость на целый год вперед. Я эти полгода буду жить в Вандее. Время скоро пройдет. Ответь.

Повидаешь Ремизова, Шестова – кто у тебя еще друзья? У меня никого.

Объявление вечера дадим за три месяца. У меня зал разрывался. У тебя разорвется. Кроме того – чего у меня не было – придут все евреи. Борис, ты заработаешь 10 тысяч франков, клянусь. А в Лондон для души (моей и твоей), но и там тысячи три франков наберем.

Самое трудное будет *мне* не разорваться. Зал, м.б., и выдержит.

* * *

Беру твою меховую голову. У тебя голова как шапка.

* * *

Самое замечательное – из тебя во мне ничто не про<йдет> даром. Во мне ты обретешь всю *чистоту внимания* (твое – об Ахматовой). Как ни один твой типографский знак для меня не пропадает даром – так ни один голосовой или иной уклон. Источник богатства не только предмет, но и наше внимание к нему. Мое внимание неисчерпаемо и неутомимо. Мое внимание – то же терпение, терпеливая направленность на один предмет. Дорого бы я дала, чтобы знать, что из этого бы вышло *в жизни*. (Она у меня весьма на подозрении.) Если будет чудо, то через тебя.

Борис, моей любви к тебе хв<атит> на гораздо больше, чем жизнь. Вывод – бессмертие.

* * *

У меня чувство, что это *в мире* единственный раз, когда совпадают двое. Ты минус я, я минус ты – мир обокраден – не мы, которые его, так или иначе, восстановим. Не будем ворами.

А о жалости мне не говори – всё знаю, до таких дон, днищ, днъ (потому что – тройное дно!). Самая бездонная из бездн. Тебя в лицемерии, а <меня> в нещадности. Как ни утишай голоса, он у меня все-таки слишком громок. (Не вещественный, голос как сущность силы.)

Словом, полное соответствие. Будь спокоен, цельный и в эт <оборвано>

Что с этим делать? (С тобой и мной <вариант: с соответствием?!>) Я бы хотела умереть, чтобы заново начать жить – с тобой. Если бы ты мог быть моим настоящим братом – или сыном – все равно чем! Я бы и в равнодушии кровного братства, и в запретности сыновства, я бы и годов<алого> тебя узнала. Ты не знаешь, какая для меня рана – *твой* сын!

*** * ***

Одно мое письмо к тебе пропало – давнишнее, кажется в июле 1924 г. – когда я только что узнала о *своем* сыне. Не восстановить! Все письмо – один вопль, невосстановимо – п.ч. теперь ему 1 год 2 месяца и я знаю его лицо.

Прости меня за этот выпад из дост<оверной> колеи, разъединенн<ости> тебя и меня. Я знаю, что на расстоянии так не должно. (Безопасно! безответственно!) У меня – *в жизни* так не должно и не будет. Я совсем не застенчива, но очень воспитана, ты никогда не услышишь бóльшего, чем *решил* услышать. Но дай мне вопить так – через простр<анства> – как поезд – как волк —

Ведь я не больше говорю тебе, чем волчье или паровозное у – у – у —

Борис! Ты нав<ерное> куда-нибудь поедешь летом, так все звуки в ночи, на воле – я. Когда дерево шатается под ветром. Когда поезд гудит. Это я тебя зову – неодолимо.

Анкету вышлю завтра.

<Запись после письма:>

Написать Б. о чарах. Презренность чар. (Низость, низкий сорт.)

Письмо 46
11 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Меня больно кольнуло известие о Х<одасеви>че. Как мне избавить тебя от «стрел», направленных в меня? Может быть написать ему? Вообще я его во врагах не числил. Я даже как-то переписывался с ним, и это смешило и обижало И<лью> Г<ригорьевича>. Я уважал его и его работу, его сухое пониманье и его позу, которую считал временным явленьем. Мне она казалась чем-то вроде затянутости за табльдотом: съест человек новизну признанья и успеха, развяжет салфетку, отвалит в естественность, и мы его увидим в партикулярном беспорядке роста. Вот именно, я иначе представлял себе его развитье. Я и сейчас не утратил бы дружеского чувства к нему, если бы не твои слова о гадостях, которые он тебе делает из неприязни ко мне. А этому свинству уже имени нет. Он знает, как меня звать и как меня хаять. Мог бы непосредственно. И адрес мой, во всех отношеньях, ему прекрасно известен. Был бы чересчур тонок и фантастичен домысел, что, желая поразить меня в сердце, он за мишень избрал как раз тебя. Этого он, вероятно, не знает, хотя уже и в Берлине я говорил с ним о тебе, – горячей нельзя. Переписка наша оборвалась на его письме, написанном после смерти Брюсова. Оно мне решительно не понравилось. Он повторил тупую, безглазую, бессердечную фразу о том, что мы все знаем, но что можно по-разному переживать. Для меня эта формула о Брюсове была личной трагедией и была бы таковой и в том случае, если бы он меня как поэта не так сильно любил. Его судьба взывала к мысли, как трагическая загадка, и в моей жалости к нему были все признаки большого путного чувства, без тени оскорбительности для него, хотя из того же чувства я готов был лгать ему. Впрочем, кажется, этого не случилось ни разу, хотя я не останавливаю Ж<анну> М<атвеевну>, когда она меня зовет его любимейшим учеником. Та ходячая фраза, которою так легко отделался, и кто, Х<одасевич>! – в письме о своем собственном прототипе, была на устах у нас, сумасшедших дилетантов, именно в дни, когда Х<одасеви>чи закладывали основанье этой ледяной драмы. Из-за них именно и их несдержанности в те годы, *мне пришлось* сказать на поминках у Ж.М. мучительное, судорожно-сведенное слово о том, что Б<рюсов> взывает к памяти, к *справедливости*, к историко-литературному изученью, а не к фразе о том, что он не говорит чувству. Поразительно, как идут из него тут вот Блок, там – Северянин, из переводов Верхарна – м.б. Маяковский; еще откуда-нибудь я. Ты ведь все это понимаешь? Да, а Гумилев! Главного забыл. Слова эти посеяли недоуменье среди пивших и евших. Понял, глубоко понял, что я сказал, один Рачинский и обнял и расцеловал. Правда, я говорить не умею, всегда сумбурен, а тут к тому же и пили много. Остальные чуть что не попрекнули меня съеденным и питым. «А он-то вас так любил», вырвалось у Ж.М., и я сказал ей, что об этом никто не пожалеет, ни она, ни его память. Тут хотели медовой ходячей фразы в противовес ходячей желчной и удивились, ее не услыхав. А вскоре я получил письмо с ходячею желчью. На это письмо, м.б. и по случайности, я ему не ответил, и переписка замерла сама собой. По отношенью к Х. точно так же, как и в отношеньи Брюсова, я всегда готов сдерживать всякий натиск ходячей фразы. Я не знаю, что его взвинтило против меня. Надо владеть техникой, надо быть умницей, надо чуждаться пошлости и смешного, надо уметь работать. Достоинства всего Х<одасеви>ча в целом составляют необходимую частицу минимального художнического идеала. Но ты представляешь себе, что бы случилось с зауряд-дураком, свались на него задача написать Гамлета. Из положенья, что это должна быть лучшая драма мира, а это положенье дураку было бы обязательно известно, он вывел бы заключенье, что писать ее нужно в условьях, в каких писались лучшие драмы мира, т. е. что для этого надо зара-

зиться Эсхиловым кашлем пятого века и пр. и пр. Шекспир же знал, что это надо написать по возможности *дома*. Х<одасеви>ч далеко не этот дурак, надо отдать ему справедливость. Но драма этого дурачества и всех его заблуждений настолько перевита с культом старого мастерства, что только редкие уходят с собственным лицом со школьного маскарада. Только случайность, м.б. какая-нибудь особенность судьбы позволяет в настоящем свете увидать *естественную* панораму культуры, ту воздушную перспективу ее сырого величья, благодаря кот<орой> и держится ее сухой валютный курс. Это ты понимала еще ребенком. «Неповторимое имя Марины, Байрона и болеро». (Цитата неподходящая, но хочу напомнить то стихотворенье.) Тут-то и обозначается граница В<ладислава> Ф<елициановича>. Он не знает, что кроме сырости беспомощности, есть сырость силы, сырость большой, трудной формы. А может быть, и знает, да не хочет знать. Между тем эта линия отделяет большое явленье от малого. Первое приходит со своей природой, с обозом своих шорохов и тайн. Оно с провиантом, у него обеспечен тыл. Но даже и в этом отношеньи я о Х. никогда ничего обидного не говорил. Если даже до него дошли мои слова о нем, сказанные зимой его первой жене, А<нне> И<вановне>, то и в них нет ничего дурного, они сказаны с сожаленьем и доброжелательством. Я сказал, что он жертва типического заблужденья, овладевающего большинством в стадии мастерства. М<ежду> пр<очим> и Ахматова, отнюдь не футуристка, и не только допускающая заимствованья, а, по-видимому, в изученьи поэта видящая только исследованье его источников, и та согласна со мной, что убежденье, будто на улицу надо выходить Тютчевым, чтобы воспринимать зелень, не может быть моралью артиста. Кроме того, это всегда на руку Овсянико-Куликовским. Их ученый кругозор ограничен портфельной кожей, сорт которой так же произвольно связан с именем Пушкина, как городские улицы и скверы, пароходы или иные сорта карамели. Важно то, что кожа эта выделывается в честь Пушкина точно так же, как Ленинград стоит именем Ленина. И вот, тебе хорошо известны их восторги, когда в Возмездии начинает чувствоваться легкое потрескиванье ямбической инерции, или когда в поэме Белого ее треск совершенно оттесняет автора, или когда вдруг это происходит даже со мной (вот захлебывались Сакулины (Высок<ая> Болезнь)), или когда Есенин просто поселяется в Сакулинском портфеле, т. е. не только принимает его поздравленья, но и сам готов себя поздравлять с этой – утратой поэтического содержанья. Но довольно о Х. Просто удивительно, что я так много о нем говорю. М.б. бессознательно я хочу тебя настроить на примиренье с ним. Помнится, он ко мне и к тебе хорошо относился. —

Шмидта дописал до половины. Думается, недели через 2–3, пред тем как сдавать, пошлю на твой высокий суд (если кончу). Уже определилось, что он ниже… посвятимости тебе. Его поэтический уровень снижен тяжелыми гирями реализма, психологической правды и пр. Правда, все это поднять нелегко. Только надо ли это? Этого вопроса не разрешить. Очередная работа стала перебиваться налетами внезапных состояний полу-диктанта, бессонниц со слушаньем стихов, отн<осительно> которых не всегда уверенность, что – свои, как в Сестру мою жизнь (acc<usativus> temporalis[32] = в пору, в среду). Боюсь сглазить, кажется дождался года, которого ждал восемь лет. Завел, как тогда, для таких инстинктивных записей – толщенную тетрадь in folio. Вообще такие состоянья люблю, – болезненное блаженство, но к их документациям отношусь с постоянным подозреньем. Т. е. тут могут быть редкие проблески. Но это совсем особый жанр. Такие вещи надо накапливать. Когда их много, выясняется, чего они хотят от тебя, и тогда им следуешь. Каждое же в отдельности для обработки не годится. Ты спросишь, о чем я говорю? О двух категориях. Одни возникают за столом, с пером в руке. Другие в постели, за умыванием после плохой ночи, еще как-нибудь. Из них два посылаю, чтобы до Шмидта чем-ниб<удь> перекинуться с тобой. Одно – думал о тебе, лежал, и хорошо шло, почти как говорю. О другом два слова.

[32] винительный времени (*лат.; грамматическая категория*).

Не оперные поселяне,
Марина, куда мы зашли?
Общественное гулянье
С претензиями земли.

Ну как тут отдаться занятью,
Когда по различью путей,
Как лошади в Римском Сенате,
Мы дики средь этих детей!

Походим меж тем по поляне.
Разбито с десяток эстрад.
С одних говорят пожеланья,
С других, по желанью, острят.

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы,
Как авторы Вед и Заветов
И Пира во время чумы.

Но только не лезь на котурны,
Ни на паровую трубу.
Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый.
А смерть это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним.

Чтобы испытать, возможен ли на этой почве переход к настоящей прежней поэзии с воображеньем, идеализмом, глубиной и пр., я вслед за Шмидтом, прерывая работу над книгой, хочу написать… «реквием» по Ларисе Рейснер. Она была первой и м.б. единственной женщиной революции, вроде тех, о кот<орых> писал Мишле. Вот из набросков:

…Но как я сожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней.
Тогда б я знал, чем держится без клея
Людская повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам:
Валились зимы в мушку, шли дожди.
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Все падало, все торопилось в воду,
За поворотом превращалось в лед,
Разгорячась, влюблялось на полгода,

Я даже раз влюблен был целый год.
……

Смешаться всем, что есть во мне Бориса,
Годами отходящего от сна,
С твоей глухой позицией, Ларисса,
Как звук рифмует наши имена.

Вмешать тебя в случайности творенья,
Зарифмовать с начала до конца
С растерянностью тени и растенья
Растущую растерянность творца.

Прости бесстрашье, с каким засылаю тебя таким многословьем. Не боюсь и того, как взглянешь на рифмованный листочек. Ты, верно, тоже не придаешь значенья этим записям, *сопровождающим* естественное развитье, разделяющим их <так!> участь. Это не плоды, а процессы. Еще объясненье. Это письмо в ответ на твое двухцветное по возвращеньи из Лондона. Спасибо за себя и за Ан<ну> Андр<еевну>. Очень хороши твои замечанья о въезде в Лондон и о разочарованьи (топография слуха). И о лишенности поэтов непосредственности (нацеленность на слово – нацеленность на смысл). Конечно, это так. Тут только м.б. необходима та поправка, кот<орая> опять возвращает к разговору о Х. Надо быть большим поэтом. Полет, рассеянность, горизонт большого умиленья, многое другое в том же роде – все это тоже непосредственность, т. е. лучше сказать, только это и есть планетарная непосредственность, из которой на разный фасон скроена отрывистая, вседневная. Тоже прекрасно и о волевом начале в любви. Безотчетно выделил все то, о чем и сам незадолго до твоего письма думал. Найдешь много и в моих. Т<ак>, напр<имер>, о первоисточнике, это в том письме, где прошу не отвечать мне, только оттого, что к тому есть повод. – № Асина дома 18, кв. 8 (Мерзляковский пер.). – При перепечатке Потемкина набирайте в целую строфу, как в письме тебе посылал, а не с «Нов<ого> Мира», где разбита. Ты видала? Не слишком ли портит впечатленье такая транскрипция?

Твой Б.

Письмо 47
12 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Я получил твое письмо о переезде с детьми на море. И опять совпаденья, совпаденья, совпаденья. Совпаденье нежеланья отвечать тотчас на мои письма с моей просьбой о том же, вероятно уже дошедшей. Совпаденье буквальное твоих слов о герое твоей поэмы с моими собственными о моем собственном. Замечанье, которое растворится в целом, т. е. ты сейчас эту выдержку, не зная, откуда она, пропусти без вниманья: Он посвящает женщине Типические письма. *Он весь от а до ижицы* – Усвоенный разбег. Совпаденье относительно Рильке. Если ты что-ниб<удь> от него получишь, сообщи мне. Если будет что-нибудь для меня, просмотри, м.б. будет нуждаться в транскрипции. Кроме того, у нас почтовых сношений со Швейцарией, кажется, нет. Кстати. Ты говорила раз о карточке. Попроси у Эренбурга, я ему однажды послал. Тут заменю (полуправда – под рукою нет). Но этого не говори. Единственный раз, что я вышел, п.ч. снято во всех отношеньях моментально. Снимали Женю с мальчиком у фотографа, уже все было наставлено и готово, когда предложили и мне стать. Я и опомниться не успел, как вышел, т. е. удался. Был разгорячен, дело было летом, в Петербурге, мальчика на 6-й этаж нес перед тем, и на крыше под стеклом было душно. Обыкновенно же выхожу кретином и гориллой, каков, не в разрезе момента, и в действительности. – Но покончим с совпаденьями. Теперь просьбы. Ради Бога, родная, удивительная, избавься от мысли, что ты *еще* обо мне не сказала, как никто, и в свой час еще это сделаешь. Гони от себя эту мысль, как и поползновенья отвечать вовремя. Во-первых, это уже сделано. Во-вторых, не будь это даже так, гораздо большее, в том же направлении, делается тем, что я могу сказать тебе: я тебя не боюсь, мне с тобой вольно и просто, потому что ты гениальна.

Другая просьба. Ради Бога, не посылай ничего сыну. Я до глубины души тронут тем, как ты об этом пишешь, как вообще о детях пишешь, о Георгии. И я знаю все, но ты не все знаешь, т. е. то, что ты знаешь – не все. Ты как-то спросила, отчего я о нем не пишу. Оттого что он на руках у дома, уплотненного 4-мя семействами, оттого что у него не такая няня, какой бы я желал и какие бывали у нас; оттого что уплотненья и няня (белоруска) коверкают ему язык; оттого что мать целые дни во Вхутемасе, с утра до вечера, и в придачу к лишеньям, к которым ведет ее постоянное отсутствие, теряет здоровье; оттого что я ничего ей не могу сказать, п.ч. знаю, что и я бы ходил во Вхутемас и семья бы меня не остановила; оттого что всеобщая любовь делает мальчика эгоистом и баловником и умаляет его трогательность и подлинность в моих глазах, иногда видящих его иначе; оттого что моя любовь к нему испещрена примечаньями; оттого что это мое сочиненье пишется чужими руками, и я не в силах этого переделать, потому что чем шире разъезжается эта нескладица, тем больше приходится мне зарабатывать, тем меньше, значит, я ей принадлежу; оттого что это безвыходный круг. Вот отчего я не люблю говорить о нем. Он настолько похож на мою детскую карточку, что когда ее случайно нашли при разборке папиного архива, то выдали за снимок с него. Может быть, он не так будет безобразен, как я, может быть, – только по-другому. Но все это, все это придется когда-нибудь переделать.

Третья просьба. Если в письмах, в противовес совпаденьям, у нас будут встречаться скрещивающиеся разновременные расхожденья, ты на них не обращай вниманья. Вот как я об этом думаю (я весь всегда в сентенциях!!). Не только у нас, но и вообще в человеческой атмосфере диаметральное разномыслие очевидный абсурд. Я не говорю о живом разнообразии мнений. Это – неприкосновенно. Но о спорности и противоречии истин. Это всегда основано на недоговоренностях, на недомолвках. Высказывается положенье так, как оно

рождается в душе, сигналом, вырывающимся изнутри навстречу парящему, ширяющему *пониманью* и в расчете на его бессменное дежурство. И вот, мы живем одними тупыми, несчастными, *неудавшимися* недомолвками оттого, что даже и при желаньи их развить и истолковать, с самого начала обманываемся в расчете: дежурство заслонено или оттеснено стихией посредственности. Людям в большинстве нечего сказать оттого, что им некому стало говорить, и этот отрывистый, недопонятый лай стал обычной формой душевной жизни. Бессмысленность стала ее стилем. Тебя, стало быть, не должно смущать, что мои слова о Брюсове в примененьи к Ходасевичу встречаются по почтовой дороге с твоим желаньем послать мне «Героя труда». Ни этот, ни подобные случаи впредь. У нас даже и всякая недомолвка значительна, и, чтобы сказать трезвее, не может быть во всяком случае ни одной, которая бы обречена была недомолвкою остаться.

14 апреля 1926 г.

Я уже начинал письмо с этой невозможной зубной болью. Это у меня в третий раз за последний год. В разгаре работы, при повышении нервной деятельности, разболевается правая половина нижн<ей> челюсти. Когда недавно флюс был – это другое, это слева. А тут все симптомы до точности повторяются. Боль благороднее зубной и невыносимей. Стоит с неудачной строфы перейти на оживающую, чтобы случился приступ. По-видимому, это воспаленье лицевого нерва. Когда, по прошествии двух недель, это мученье проходит, оно неизменно кончается странностью с левым глазом; трепетанье века, побаливанье виска, – но без дерганья, со стороны незаметное. Что за наказанье! Что мне делать? Завтра пойду сделать рентгеновскую съемку. Теперь я в апогее этой пытки. Главное, периодичность этих болей на что-то указывает, к чему-то взывает. М.б. это возмущенье нервной системы, бессильной вечно давать и давать, давно ничего не получавши. Отдыха тут мало. Я конечно не умею отдыхать. Т. е. те годы, что я ничего не делал, я докатывался до другой крайности: я утрачивал видимость душевной жизни, и такой отдых нравственно утомлял больше всякой другой работы. Но надо бы проездиться, попутешествовать, побывать одному в пути, в переменах. Это все вещи, о которых не приходится и мечтать.

15 апреля 1926 г.

Это не зубная боль. Эта боль такова, что под карандашом отца она дала бы всего меня в двух линиях: правого бока челюстных салазок и левого виска. Ото всего меня остается одно это мучащееся очертанье лица. И вот, в это опустошенное болью пространство, постепенно покидаемое Шмидтом, реквиемом и пр., за невозможностью писать их и обдумывать, пришло и взволновало меня письмо из Парижа от З<елинского>, из посольства, в ответ на мою просьбу прислать твои книги. Если бы это еще требовалось, тут был случай понять лишний раз, как я тебя люблю, какая для меня это полная истина, предельно живая, т. е. прежде всего включающая те стороны жизни, которые кажутся не относящимися к чувству отдельных людей. Т. е. с тобой я люблю и историю, и тебя и себя в ней, и еще может быть больше, но в ее духе, как ее часть, – судьбу русского общества, родную и неясную и требующую уясненья, но никак не того, какое до сих пор давалось с какой бы то ни было стороны.

Обрываю это письмо. Я зашел в область, о которой в двух-трех словах говорить нельзя. Может быть коснусь как-нибудь потом, в разговоре с И<льей> Г<ригорьевичем>. Ты ее тоже в письмах не касайся. Но если вспомнишь затрепанное Пушкинское: и в просвещении стать с веком наравне (кажется так?), то вот круг руководящих аксиом, которые определяют мой приблизительный, незаполненный, медленно заполняющийся кругозор. Это убежденье, что настоящее живое искусство уже и в дни нашего детства было социалистическим. И в силу того закона, который культуру каждой эпохи заставляет отожествлять с собою все вечные элементы предшествующих эпох, мне и Шекспир и Гёте кажутся выразителями той же ноты,

подобно тому как романтикам они должны были раскрываться романтиками, символистам – символистами (я стал ужасно рассеянно писать, на кажд<ом> шагу описки). В чем я вижу признаки социалистической культуры, это разговор долгий, я м.б. серьезно напишу тебе об этом и пришлю с И.Г. С этим связана и тенденция, которой проникнуты все мои намеренья. (Какая глупая тавтология!) Надо знать хорошо историю России со второй половины XIX в. до нашего времени. В большинстве и в лучшей своей части она – подпольная. Это значит, что я ее почти не знаю. Это, что гораздо важнее, значит и то, что узнать ее еще мало: в такой форме она ни тебя, ни меня не удовлетворит. Но узнав, ее надо *подчинить той пластической, воссоединяющей со всем миром эстетике,* которою с лихвой, захлебываясь в ней и ее не заслужив, пользовалась официальная история гибнувшего государства, связываясь с миром через нашу семью, через наши нервы, наше дарованье, наше прошлое.

<На полях:>

Не жди от меня некот<орое> время писем. По-видимому, мне нельзя будет писать. В здоровом состояньи и не замечаешь, что за этим волнуешься. А сейчас точно в больном нерве ковыряешь. Приступ за приступом.

Больше никогда так писать не буду. Примусь за леченье. Главное, работу придется бросить. Посылаю как есть, чтобы что-ниб<удь> послать.

Что ты вздумала морем поверять мои «идеалы»? Дюнами! Я горы так же люблю (Урал Люверс).

Вычитай из всего, если можешь, большую нежность к большому.

Прерываю письмо окончательно. Боль разыгралась невероятная. Удовлетворись <оборвано>

Письмо 48
<ок. 18 апреля 1926 г.>
Цветаева – Пастернаку

Люб<опытно>, что те твои письма я прочла раз – и потом не перечитывала, м.б. бессознательно превращ<ая> их в живую речь, которую нельзя слышать вторично. А это (о Ходасевиче и Брюсове) много раз, в полном покое и вооруженности.

Борис, не взрывайся по пуст<якам>. Он (Ходасевич) тебя не любил и не любит и – главное – любить не *может*, любил бы – не тебя или – не он. «Пастернак сильно-разд<утое> явление», вот что он говорит о тебе направо и налево, а мне в спину – *я* только что вышла из комнаты – Сереже: «Между прочим, М.И. сильно преувеличивает Пастернака. Как всё, впрочем».

Не огорчайся, что тебе делать с любовью Ходасевича? Зачем она тебе? Ты большой и можешь любить (включ<ительно>) и Ходасевича. Он – тобой – разорвется, взорвется, на тебе сорв<ется>. Его нелюбовь к тебе – самозащита. Цену тебе (как мне) он знает.

И не утешай меня, пожалуйста, я против всякого равно-без-тще-душия забронирована. Полу-друзей мне не нужно.

* * *

Второе. То, что ты написал о Брюсове – провидческое. Я как раз думала, посылать тебе или нет с Эренбургом свою большую (прош<лым> летом) статью о нем. – Ну вот, прочтешь. – Не хочу ничего говорить заранее.

Да, ремарка: Адалис, как живую, несчастную и ничтожную, я намеренно, сознательно обострила <вариант: заострила>. Могла бы дать ее карикатурно (т. е. натуралистически), дала ее – ну словом, как я́ даю, когда даю. Не обманывайся и не считай меня дурой.

* * *

«Как *звук* рифмует наши имена». Ну что ж, Ваши как звук, а наши – как смысл. И своего имени я бы не променяла даже ради рифмы с твоим / тобой.

Первая и м.б. единственная женщина революции? Ну а я – достоверно – первая и единственная обратного. И этой единственности я бы не променяла даже на *твой* Requiem мне <над строкой: подп<исанный> тв<оим> им<енем>>.

Обо мне, Борис, когда помру, напиши не Реквием, а гимн <вариант: оду> на рождение.

Младенца милого небесное явленье
Приветствует мой запоздалый стих…

Requiem – покойся. Я от *покоя* устала, от насильного сна.

Очень хорошо – с грудными городами на груди.

* * *

Стихов мне не пиши. То, что можно бы – не посмеешь (*мою* единственность!), личное – у нас с тобой захват больше. Пиши большие вещи, Шмидта, Реквием, пиши *себя*, так ты больше со мной <над строкой: – всё равно говоришь – мне>.

За стих спасибо. Если расшифр<овать> – хорош особенно конец.

* * *

Наша основная разница. Ты очень добр. Я – нет. – Я пламень и камень. Сушь – вот моя основа, всегда, в любви и вражде.

* * *

Ты хочешь ввести в последнем письме элем<ент> благоразумия (большие паузы между словами, чтобы утишить дыхание). Ты в нем как главный уговаривающий.

* * *

Отметить:

Еще одна разница между нами: у тебя есть объективный (для всех) словарь, у меня его нет.

* * *

Третья строка предпоследнего 4-стишия – зря. Мишурный – интеллигентское слово, ставшее ирреальностью <вариант: только переносным>. Кроме того, гуща и мишурный – вразрез. Не надо. Замени.

* * *

Да! Еще. Стихи мне оставь для разлуки. Сейчас встреча. (*Все* стихи о разлуке!) Встреча в здесь – разлука, п.ч. здесь мы разъединены, не сегодня, а всегда, «навсегда». Сейчас – полно и цельно, встреча на всех парах и на всех парусах.

И все-таки – зову тебя, хотя с падающим сердцем. И через *это* перейдем.

После этого мне нечего уже будет ждать выше. Бóльшего не бывает. (Эти слова я через всю жизнь слышу к с<ебе>. Говорю их впервые.)

Письмо 49
20 апреля 1926 г.
Пастернак – Цветаевой

Завтра я встану другим, скреплюсь, возьмусь за работу. А эту ночь проведу с тобой. Наконец-то они разошлись по двум комнатам. Я тебе начинал сегодня пять писем. Мальчик болен гриппом, Женя при нем, еще – брат и невестка. Входили, выходили. Поток слов, которые ты пила и выкачивала из меня, прерывался. Мы отскакивали друг от друга. Письма летели к черту, одно за другим. О как ты чудно работаешь! Но не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить.

Вчера я прочел в твоей анкете о матери. Все это удивительно! Моя в 12 лет играла концерт Шопена, и кажется, Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петерб<ургской> консерватории. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу (была репетиция, слушали музыканты) со сл<овами>: «Вот как это надо играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. Она жива. Я, верно, в нее. Она воплощенье скромности, в ней ни следа вундеркиндства, все отдала мужу, детям, нам. Но это я пишу о тебе. Утром, проснувшись, думал об анкете, о твоем детстве и с совершенно мокрым лицом напевал их, балладу за балладой, и ноктюрны, все, в чем ты выварилась и я. И ревел. Мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.